

*Карина Аручан*



Русский роман XXI век

роман

*ПОЛКОВОДЕЦ СОНЯ,  
или  
В поисках  
Земли Обетованной*

Карина Аручан

**Полководец Соня, или В  
поисках Земли Обетованной**

«Мульти Медиа»

2009

## **Аручан К.**

Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной /  
К. Аручан — «Мульти Медиа», 2009

В романе действуют реалистические и фантастические персонажи. «Параллельные миры» пересекаются, образуя единый мир. Иногда реальность кажется вымыслом, а фантастичность – элементом реальности, как «Волшебная Дверь», подаренная девочке Ангелом Маней. Персонажи «параллельного мира» (Ангел Маня, Люцифер) ведут себя, как живые. А действительность подчас выглядит фантазмагорией, хотя описана исторически конкретно и точно (даты, приметы времени, фигуры довоенных и послевоенных лет XX столетия, оттепели, застоя, перестройки, начала XXI века). Библейские притчи, апокрифы, сказки вплетаются в новейшую историю, находя продолжение в современности. Роман, названный "роман-притча", реалистичен и имеет социальную направленность, но является притчей по сути, ибо притча универсальна, её образы можно заместить другими, но суть как геном остаётся. Именно поэтому роман ориентирован на широкую аудиторию – в нём много аллюзий, почти каждый видит аналогии со своими жизненными ситуациями. Роман был номинирован на "Лучшую книгу-2009". В 2010 г. выдвинут на Горьковскую премию – "за наилучшее отображение в духе русской классической литературы с максимальной полнотой и драматизмом процессов, происходящих в обществе".

## Содержание

ЭПИЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
ГЛАВА ПЕРВАЯ	8
ГЛАВА ВТОРАЯ	12
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	15
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	19
ГЛАВА ПЯТАЯ	21
ГЛАВА ШЕСТАЯ	27
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	29
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	32
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	36
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	39
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	41
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	45
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	51
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	57
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ	65
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	76
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ	76
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ	93
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ	100
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ	122
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ	123
Конец ознакомительного фрагмента.	125

**Карина Аручан**  
**Полководец Соня,**  
**или В поисках Земли Обетованной**  
***Роман-притча***

*«Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою».*

*Козьма Прутков*

– До чего же запутана эта Книга Бытия! Какой том ни возьми... Страницы, что ли, перемешались при вёрстке? Конец – в начале, начало – в конце! Вот, например...

## ЭПИЛОГ

Незадолго до пасхи 2033 года Соня занемогла. Утратила привычную живость, перестала давать близким ценные указания, стала мало есть, подолгу дремала под музыку «ретро» или молча сидела в кресле перед распахнутым окном, за которым галдели воробьи, дети, и жёлтая стена дома напротив с каждым днём сильнее наливалась солнечным светом.

Весёлый апрельский ветер гулял возле Сони, теребя седые волосы и, казалось, приносил вести из дальних стран и далёких времён. Прислушиваясь, Соня наклоняла голову и улыбалась загадочно, как Джоконда. Временами слёзы стекали по улыбке, но на вопросы, что с ней, Соня отвечала: «Это от старости. Не от печали». И закрывала глаза, притворяясь, что дремлет. Все решили: её корабль пришёл, наконец, в порт, команда распущена, и паруса, в которые никогда больше не дуть ветрам, сняты навсегда.

Но Соня готовилась к новому плаванью. Спокойно и сосредоточенно перебирала снасти, вспоминала прежние путешествия, бывших спутников. И понимала: пришла пора снова прощаться.

Она не страшилась этого. Она славно прожила жизнь, и что ей здесь делать, если всё, что хотелось, сделано?

Однако была грусть – будто поезд отрывается от перрона и набирает ход, унося от любимых. Но при этом новое – опять новое! – счастье переполняло её. Оно было удивительно лёгким и сильным. Соня казалась сама себе воздушным шариком, который вырывается из детской руки и уносится ввысь к солнцу от пёстрых домиков, лужайки с лютиками...

Вдруг воздух сгустился, сгустился. Янтарный, как мёд, свет залил комнату. Упал на жёлтый паркет. Заблестал, заискрился, как океанская вода в солнечный день. Подкатил сверкающими волнами к креслу, где сидела Соня.

На полу перед креслом появились огромные смешные ботинки. Соня не видела их восемьдесят лет! Но не забыла. Медленно, не веря себе, стала поднимать глаза... Болтающиеся на худых длинных ногах холщовые брюки... белая рубаха навывпуск... И, наконец, увидела всего долговязого и какого-то очень нескладного, даже нелепого, взрослого мальчика с весёлым лицом.

– Ангел Маня! – выдохнула Соня. – Как долго тебя не было! Я уж решила, что *сама* придумала тебя, когда плакала в тот солнечный день под лопухами, а потом поверила... и ты стал просто *моя игра*.

– «Сама, сама»... всю жизнь такая! – пробурчал Маня. – Как же сама, если я с тобой *разговаривал*?

– Я слышала... только после думала: это мой внутренний голос.

– Н-ну, часто так и было, – признался Маня. – Но не всегда.

– А почему ты не постарел, не изменился? Ведь столько лет прошло! Может, ты просто мое воспоминание? Впадаю в детство?

– Ангелы не стареют, – виновато сказал Маня. – А насчёт детства... ты, к счастью, никогда не выходила из него бесповоротно. Как можно впасть в то, что не покидал?

– Так ты всегда был рядом? И охранял, как обещал при первой встрече?

– Да.

– Значит, это ты мне помог тогда, когда...

– Нет, тут я не при чём. Ты прекрасно управлялась сама.

– А когда мне так повезло в тот день...

– И тут я ни при чём.

– А когда...

– И это сделала ты, Соня. С тобой было легко. Ты действительно почти всё делала без моей помощи. Даже то, что тебе самой казалось чудесами. Да, я нащёптывал кое-что время от времени, но помог лишь однажды, и то лишь потому, что так *велели*. Я не должен был дать тебе погибнуть до окончания срока...

– Срока?

– Да. Твой срок известен. Но не спрашивай...

– Почему же не показывался? Только разговаривал... А явился лишь сейчас... Почему?

– Не положено. Мы приходим только к слабым, да и то не ко всем – на это есть свои *инструкции*... а ты была сильной. И ещё мы являемся детям. Потому и показался тебе, когда ты была маленькой девочкой. Дети должны *знать*. Только не все потом могут использовать это *знание*... перестают верить... заменяют *наши* правила своими. Ты сейчас ослабла... а ребёнком, как я уже сказал, никогда не переставала быть. Тебе дозволено снова увидеть меня сегодня – чтобы знала: *всё правда... всё так...* так, как тебе казалось. Ты ведь всегда хотела это *знать*... *знать наверняка*.

– И я могу рассказать об этом тем, кого люблю? Чтобы тоже знали.

– Не стоит. Это *твой* опыт. У каждого он свой. Каждый *сам* приходит к этому. Или не приходит. Ты же знаешь: подталкивать нельзя.

– Так я *пришла*? Это эпилог? Мой срок окончился? Ты ставишь *точку*?

– Ничто никогда не кончается. Да ты ведь сама писала: «Точка – только знак начала» и «вслед за ДО идёт ПОТОМ»... Любой эпилог разворачивается новым прологом...

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Претендент назначен, – произнёс Создатель. – Мы отследили генеалогию сотен сильных родов, способных подарить Избранного. Выбор пал на девочку, которая должна сегодня родиться. То, как она сумеет распорядиться равновеликими дарами Света и Тьмы, которые ей будут посланы, определит дальнейшую судьбу человечества – достойно ли оно второго пришествия Мессии, второй попытки Выбора Пути или того, чтобы его навечно стёрли с лица Вселенной, как неудавшийся эксперимент. Решение будет принято в 2033-м году по земному времяисчислению – в двухтысячный год со дня гибели и Воскресения Сына Божьего, дня торжества на Земле Великого Зла и Великого Чуда. Назначенной девочке, для которой предстоит стать зеркалом будущего, экспериментальной моделью человеческой расы, колбой, где кипят разогретые энергией поколений Добро и Зло. Что привнесёт в мир человеческое дитя, обладая равно могущественными дарами Света и Тьмы? То, что мы увидим по завершении опыта, и будет самой вероятной моделью развития человечества, а потому решит его судьбу. Итак, дары...

Слева от Создателя клубилась вязкая чернота, от которой веяло холодом. Справа пульсировал и струился, прибывая и становясь всё ярче, тёплый свет.

– Забавное казино! – послышалось хихиканье слева. – Хозяин уверяет, что у него без обмана, притворяется, что даёт равные шансы игрокам, но явно на стороне одного. Однако отчего не поиграть, если предлагают? Особенно в таком элитном заведении! Тем более что пригласил сам владелец... Что ж, перекинемся в картишки! Вдруг подфартит – и лавочка всё-таки мне достанется?

Плод, до этого уютно покоившийся в чреве матери, вздрогнул. Всё вокруг пришло в движение. Завибрировали и стали устрашающе наступать, грозя раздавить, стены матки – его первого дома, бывшие ему надёжной защитой всю жизнь, все девять месяцев его существования. Запульсировала, заколыхалась, стала обдавать тяжёлыми волнами и куда-то нести тёплая вода, служившая доселе мягкой колыбелью. Привычный мир отторгал его. Это было первое предательство, первая катастрофа.

Боль и ужас пронзили плод. И тут же бешеная энергия наполнила клетки. Надо сопротивляться – иначе конец! Плод начал инстинктивно группировать мышцы, пытаясь удержаться в удобной позе и не дать себя раздавить. Но чем сильнее напрягал локотки и колени, тем сильнее в ответ давили стены, тем чаще подбрасывали и кидали в разные стороны гигантские волны, не давая задержаться в одном положении.

– Дарю ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ СУЩЕМУ, – тихо раздалось справа.

– Кто же с козырей начинает? – удивились слева. – Ведь это явно Твой козырь! Но отчего Ты стесняешься? Игра – так игра! Карты – так карты! Материализуем Твою козырную.

В светящемся пространстве появилось зелёное мерцающее сукно – и на него откуда-то упал червовый туз.

– Так-то лучше! Правдивей, – слева явно забавлялись. – Только что это за игра, никак не пойму. Какие у неё правила? Или они в процессе определяются? Выброшу-

ка тоже козырную. Чем ответишь? Вот она, Моя козырная – червовая дама: **ЧУВСТВЕННОСТЬ**. Признайся, Ты ожидал от Меня какие-нибудь зловещие пики? Твой ход!

– **СОСТРАДАНИЕ, СКЛОННОСТЬ К ЖЕРТВЕННОСТИ, АЛЬТРУИЗМ...**

– Сразу три? Хитришь! Мы так не договаривались. Что за игра получается? Такой и нет вовсе. От балды, что ли, играешь? Или Ты принципиально против азартных игр? Ну ладно, ладно, назовём это пасьянсом. Наша дамочка сама потом всё перетасует. Главное, дать ей в руки нужные карты. Только чего уж Нам хитрить с собою? Никакой это не пасьянс, а игра! Что это там у Тебя? Не желаешь к картам прикасаться? Делать их видимыми Я должен? Ладно, поработаю за двоих! Не впервой, – затараторила левая сторона. – Всё червовыми ходишь? А у Меня теперь пики в дело пойдут. Мой ответ – пиковый туз: **МОЩНЫЙ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ**, или иначе – **ЭГОИЗМ**. Любопытно, что сложится из столь несочетаемых качеств?!

Неровно задёргалась нить, соединявшая плод с материнским организмом, – это биение сердца матери стало тревожным и учащённым.

Она, видно, задыхалась – плод почувствовал нехватку кислорода. Стало душно. Конец?! Вдали зияло отверстие, из которого бил никогда не виденный яркий свет – он манил и страшил одновременно.

Что ж, вперёд, в неизвестность!

– Дарю **СКЛОННОСТЬ К ПОИСКАМ БОГА**.

– **СОМНЕНИЯ**, – на трефовый туз веером легла трефовая мелочь.

– **ЧУВСТВО ДОЛГА**, – правая сторона усиливала позиции.

– Есть чем нейтрализовать: **ЛЕНЬ!** – ухмыльнулись слева.

– **УМЕНИЕ СМИРЯТЬ СЕБЯ**, – упорствовали справа.

– Ну, теперь с Меня три карты. Крою бубнами. Король бубен – **НЕЗАВИСИМОСТЬ**. Валет – **СВОБОДОЛЮБИЕ**. Бубновая дама – **СТРАСТНЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ**. Кажется, это совсем не вяжется со смирением? Кажется, вкупе всё это Ты называешь гордыней, хотя декларируешь принцип свободы? Так получи Мой ответ Твоей непоследовательности! Наш с этой дамочкой ответ...

Плод сосредоточился, сконцентрировал энергию и начал осторожно продвигаться. Это оказалось непросто. С каждой неудачей его всё больше наполняла ярость – и он с большей силой кидался головой вперёд. Неважно – гибель или новая жизнь ждёт там. Главное – *победить движением смерть здесь и сейчас*.

Первый в жизни *урок* он получил на этом пути – *урок движения в такт изменчивому миру*.

– **СТРЕМЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОМУ СОЗИДАНИЮ...** Во имя красоты и любви...

– Ай-яй-яй! Как созидать, не разрушая? От Меня – **УМЕНИЕ РАЗРУШАТЬ**.

– **ЩЕДРОСТЬ...**

– Для баланса подарим **НЕНАСЫТНОСТЬ**. Пиковый король подойдет...

– **СИЛА ДУХА...**

– Молодец! Соглашусь. Прибавим **АГРЕССИВНОСТЬ** и **ЖЁСТКОСТЬ** – выйдет, что надо!

– **ДУХОВНОСТЬ**, – поправились справа.

- Оживим её. Подброшу-ка АЗАРТНОСТЬ.
- РОМАНТИЗМ, – добавила правая сторона, видимо, в надежде, что это про- стенькое качество охранит избранницу от низменных страстей и дурных поступков.
- Ну, тогда ПРАГМАТИЗМ С РАЦИОНАЛИЗМОМ ей не помешают, – подпор- тили дело слева. – Согласись, не худший подарок!
- ТЕРПИМОСТЬ...
- Не от страха ли за свою шкуру? Присовокупляю шестёрку треф – дарю нашей девушке ОСТОРОЖНОСТЬ. Очень девичье качество! И, пожалуй, добавлю ПРИ- СПОСОБЛЯЕМОСТЬ... Ведь всё это – оборотная сторона терпимости. Видишь, какой Я милашка? Тебе подыгрываю!

Плод прислушался к ритму сокращений трубы, ведущей к выходу. Попытался понять, как этот ритм влияет на дыхание окружающего океана и волн, то отбрасывающих назад, то увлекающих за собою. И стал использовать закономерности, которые уловил. Дело пошло лучше. Даже чем-то понравилась эта весёлая и жуткая игра. Каждый верно угаданный ход, каждая маленькая победа порождали в клетках его существа вспышки неиспытанной прежде яростной радости и давали новые силы.

Только не останавливаться! Кто кого? Он твёрдо знал: победа должна быть за ним. Он даже улыбнулся несколько раз.

Вдруг огромная волна отбросила его в сторону и опередила. Сквозь толщу и гул мчаще- гося потока донеслись извне крики:

- Отошли воды! Скорей в больницу...

Голос справа был по-прежнему спокоен и ровен:

- ВЕЛИКОДУШИЕ и МИЛОСЕРДИЕ...
- Приложим к этому ещё и ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ, – опять засуе- тилась, заёрничала левая сторона. – Прошу заметить: Я тоже использую светлую масть. Справедливость! Куда как хорошее качество! Скольких ко мне привело!
- Яркое выраженное ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ, – не сдавались справа.
- ...и ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Пожалуй, это луч- ший способ самосохранения, – философически сказали слева.
- СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ...
- ...и к НАСЛАЖДЕНИЮ. А для конкретики добавим ЧРЕВОУГОДИЕ, – слева продолжали веселиться, представляя будущего монстра, разрываемого противоре- чиями, несущего разрушение и сеющего вокруг себя хаос.
- СКЛОННОСТЬ К ГУМАНИЗМУ, ПРОПОВЕДНИЧЕСТВУ...
- Ну, уже мелочь пошла, – разочаровались слева. – Добавлю АРТИСТИЗМ и РЕЖИССЁРСКИЙ ТАЛАНТ. Надеюсь, эта девица сумеет соорудить из своей жизни забавный спектакль. Без таланта тут не обойтись! Ты же сам велел не зарывать талант в землю! Пусть людьми повертит в своих интересах. Или в Моих?

Наступило самое ужасное. Вода, убежав по туннелю в светлое отверстие – туда, где, воз- можно, было спасение, – уже не помогала двигаться. Теперь плод был полностью предоставлен сам себе. Всё зависело только от него.

Узкие стены туннеля стали сжиматься чаще, доставляя невыразимую боль. Преодолеть её можно было, переключая внимание на движение. Движение во что бы то ни стало. Движение в новом, всё убыстряющемся ритме, который диктовала среда. От навязанного средой ритма нельзя было отставать, чтоб не погибнуть. И всё-таки, всё-таки... несмотря на страх, боль и усталость, это было захватывающе весело!

Плод научился пользоваться моментами для отдыха, когда стены отступали, и улавливать ту секунду, когда они сдвигались, – чтобы использовать их как катапульту.

Так прошло несколько часов. Страшных часов с того момента, когда он остался наедине с вселенской катастрофой, предательством, собственным страхом. Но и наедине с первыми победами, неиспытанными ранее чувствами и маленькой надеждой на то, что, может быть, не всё потеряно – и надо постараться. Он собрал последние силы...

Вперёд, вперёд! Туда, откуда нет возврата – это подсказывал инстинкт, – но где, возможно, ждут лучшие времена, а потому не стоит цепляться за прошлое, потерявшее ценность.

И однако, однако... Что ждёт там, где кончается этот туннель, и ждёт ли что-нибудь вообще? Не обманчив ли этот манящий свет?

**– Достаточно! – произнёс Создатель. – Ещё один дар добавлю от себя: представлю к ней Ангела-Хранителя – эксперимент не должен прерваться раньше назначенного срока. Ей предстоит дойти до порога своего 87-летия, пока мы не будем готовы вынести решение...**

**– С самого начала хитришь, Хозяин! – раздалось нытьё слева. – Твой Ангел, небось, ей на ушко шептать будет, ходы подсказывать... Впрочем, ведь и Я пошептать что-то могу... Ладно, время придёт – выясним, чья возьмёт.**

Туннель неожиданно расширился. Отверстие широко распахнулось – слепящее солнце ринулось в него. Плод зажмурился и сделал последний рывок.

– Девочка, – раздалась голоса. – А какие длинные волосики... До плеч! Каштановые и выются!

Сквозь щели окна тёк запах сирени, листьев, сочился птичий гам, шум улиц. Девочка разжала веки. Чихнула от щекотнувшего ноздри солнечного зайчика и победно закричала: этот новый дом, который она заработала своим трудом, понравился ей. Она умолкла на полукрике и стала вертеть головой, жадно вбирая ароматы, цвета и звуки.

– Смотрите, улыбается!

...Был полдень воскресного дня. На земле стоял май 1946-го года.

Первый май после страшной войны, затронувшей половину материков и миллионы судеб<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Среди самых драматичных были судьбы политзаключённых в сталинских лагерях. Тем, чей срок заключения кончался летом 1941 г. или позже, его продлили до окончания войны, освободив их «по документам», но запретив выезжать – заставив оформиться вольнонаёмными и вынудив этих «вольных» трудиться в неволе дополнительные пять лет. После окончания войны они получили возможность уехать «без права проживания в крупных городах». В 1949 г. почти всех их снова арестовали...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Барачный посёлок на окраине Воркуты догуливал воскресенье.

«Воркута, Воркута, чудная планета, двенадцать месяцев зима, остальное лето», – топоча по деревянному настилу, заменявшему здесь асфальт, оступаясь в майскую хлябь, смешанную с остатками снега, горланили во дворе подвыпившие мужики.

– Адам! Телеграмма! У тебя дочка родилась! – к бараку ковылял дворник, размахивая бумажкой. Частушечники заинтересованно замолкли.

Адама, бывшего эка, ныне вольнонаёмного, маленького худенького армянина, абсолютно чисто говорящего по-русски, здесь любили за тихую ласковость, совершенно северное немногословие, удивительную для такого тщедушного тельца работоспособность и светлый ум – не случайно после отбытия срока он стал начальником финотдела энергоуправления комбината «ВоркутаУголь» МВД СССР!<sup>2</sup> И дворник был горд, что первый принёс Адаму важную весть.

Адам ждал её. Однако она обрушилась как нежданная. Так бывает, когда требовательные руки тормозят, расталкивают, пробуждая к жизни от долгого сна, а всё внутри сопротивляется резким телодвижениям, к которым оцепенелый организм ещё не готов. И первое инстинктивное желание – натянуть одеяло на голову, спрятаться от всех: «Нету меня!»

Но жизнь в лице дворника с телеграммой требовала реакции:

– Обмыть это дело надо! Ну, декабристка твоя молодец! В сорок-то лет рискнула второе дитя родить! В будущее тебя позвала...

«Распустилось жизни древо у Адамчика и Евы», – грянули замолкнувшие было частушечники.

Дворник, как и другие, восхищался не только Адамом, но и его женой, которую в самом деле звали Евой. Правда, в паспорте значилось более длинное имя Эвелина, – однако все, едва познакомившись, начинали звать её Эвой, а затем и Евой, когда узнавали, что имя мужа – Адам.

Эву-Еву прозвали здесь декабристкой: не отказалась от мужа и не скрывала любви к «врагу народа», рискуя прослыть неблагонадёжной. Регулярно писала ему, о чём лагерь знал от разговорчивого ВОХРовца<sup>3</sup>, который носил по баракам вскрытую «проверенную» почту и тайно вслед за начальством почитывал чужие письма как романы, за неимением в лагере книг. А когда кончилась война, приехала сюда с четырнадцатилетней Иринкой. Девять лет та прожила без отца – надо их заново знакомить, сцепляя разорванные семейные узы.

Поездка была не только попыткой преодолеть время и пространство, но и поиском украденной любви. Путешествием не просто в незнакомый северный край, а в незнакомую жизнь когда-то близкого человека, на *чужую* территорию. И поэтому она взяла с собой Иринку – как часть *своей* территории, кусочек родины. Как поддержку.

Эва понимала: за годы разлуки их некогда страстная любовь претерпела изменения. Перешедшая в письма, питавшаяся только словами, она стала бесплотной, как бы придуманной, литературной. Каждый стал для другого символом пережитых чувств, а не объектом. Дочь должна была помочь матери соединить прошлое с будущим.

Дворник тогда, год назад, ездил на лошадях к станции встречать их. Его на всю жизнь поразили неправдоподобно огромные изумрудные глаза с коричневыми крапушками-сумасшедшинками этой маленькой – метр пятьдесят! – хрупкой женщины. Они излучали радостное

---

<sup>2</sup> Северные добывающие бассейны были под эгидой МВД – Министерства Внутренних Дел, т. к. там работали политзэки.

<sup>3</sup> ВОХР – аббревиатура: от словосочетания «Вооружённая Охрана».

нетерпение, несгибаемую решимость. И каким-то седьмым чувством поняв, что «декабристка» – из тех, кто умеет повернуть жизнь по-своему, шепнул, помогая грузить тюки и чемоданы:

– Ты с ним нового ребёночка заделай! Ирина ваша без него выросла, незнакомая она ему, из прошлой жизни, отрезанной. Возврата туда нет, не надейся. Душу-то ему переехало! А новый ребёночек ручонками папку в будущее поманит – душа-то и оживёт...

И теперь рождение девочки дворник воспринимал немного как свою заслугу, радуясь, как человек, причастный к спасению ближнего.

Разобиделась тогда «декабристка»:

– Жизнь нашу переехало, а не души – они-то как раз-таки у нас живые! Вы его писем не читали. А я – знаю!

Но и дворник знал, что говорил. По посёлку ходили слухи о романе Адама с бывшей зэчкой, чернявой Белкой, к которой он навещался ночами поочередно с лагерным товарищем Николашей. Деля годами одни нары, делясь друг с другом пайкой, они теперь делились женщиной, отогреваясь по очереди у жаркого женского тела, возвращая себя к жизни извечным ритуалом горячего полуночного бормотания.

Их никто не осуждал – люди в этих краях, натерпевшись лиха, давно научились жить настоящим и знали цену любой толике счастья, которой завтра может не быть. Белка тоже на годы войны застряла в этих северных краях вольнонаёмной, но уехала сразу после объявления Победы.

И Адам затосковал, ушёл с головой в работу, часто засиживался с бумагами за полночь, сделавшись совсем неразговорчивым. Милей людей стали ему цифры – они ничего от него не ждали.

*«Время искать и время терять; время сберечь и время бросить... Время обнимать, и время уклоняться от объятий... Время говорить и время молчать»...<sup>4</sup>*

Именно во время молчания приехали к нему Эва с Иринкой.

Два месяца посёлок принимал участие в налаживании личной жизни Адама. Соседи забирали на ночь Иринку, уводили по выходным за ягодой. Пусть намолчит-наговорится Адам со своей Евой!

И потеплели к середине лета глаза Адама. И стал он тихо улыбаться, прогуливаясь с женой, держа её под руку с нежной гордостью. И все решили: забыл он Белку. И радовались, что так ладно всё устроили.

А когда в конце августа жена с дочкой уехали, – мужики стали торопить Адама с возвращением на Большую Землю и советовать, в какой из множества маленьких городков Советского Союза он мог бы податься и вызвать к себе семью. Ведь в родной Баку, а тем более в Москву к сестре дорога заказана: «без права проживания в столицах и крупных городах».

Но Адам не спешил оформлять отъездные документы. Он боялся.

Он боялся воли.

Он боялся воли и связанной с ней незнакомой суеты. А главное – того, что воля и люди, населяющие её, вторгнутся в его внутренний мир, требуя душевных реакций.

Отношения с сокамерниками-солагерниками, а затем с товарищами по работе, с соседями по посёлку, даже с Белкой в самые жаркие ночи были просты и поверхностны. Его принимали таким, каким он хотел быть, мог быть. Довольствовались тем, что он давал: руки, голову, тело, – и не требовали большего. Никто не покушался на его душу.

---

<sup>4</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Екклесиаста. Гл. 3, ст. 5.

Нежная, мечтательная, тоскующая, израненная, собранная по кусочкам и оказавшаяся беспредельно огромной, как Земля, как Космос, как Вечность, она принадлежала только ему.

Он жил как бы двумя жизнями: внешней – незатейливой, понятной всем, и внутренней – сложной, по-настоящему живя только внутри себя. Как бы «окуклился» за годы и не желал превращаться в бабочку – физический полёт в открытом пространстве страшил его.

Поэтому телеграмма о рождении второй дочки так оглушила Адама.

Жизнь настигла его. Но показалось ему: он не хотел, чтобы так вышло.

*...И воззвал Господь Бог к Адаму: «Адам, где ты?».*

*Но скрылся Адам между деревьями и кустами Эдемского сада своей души.*

– И молчун же ты, братец! До тебя, как до жирафа, доходит! – сказал в сердцах дворник, принимая от Адама дежурный стакан самогонки. – Ну, за новую жизнь! За тебя, за семью твою!

Но так и не дождавшись всплеска чувств, дворник положил телеграмму на подоконник и разочарованно заковылял обратно.

*...И второй, и третий раз воззвал Господь: «Где ты, Адам, не вкусил ли ты плод с древа познания добра и зла в райском саду моём?»*

*И вышел обескураженный Адам пред очи Господни: «Это не я, это Ева сорвала плод и дала мне»...*

*И бесконечная тоска по утраченному раю была в его словах.*

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бесы, видно, вдоволь поохотали, когда подсовывали ему искажённое дьявольское зеркало. Застывшее одинокое сердце Адама не смутилось, не содрогнулось от того, что раем оказалась эта равнодушная скудная земля и это беспредельное «ничто», в котором отдыхала душа, и свободой – размеренное движение по кругу. Так лошадь, привыкшая вращать жёрнов, продолжает механически двигаться вокруг него даже тогда, когда с неё снимают ремень и гонят в луга, чтобы добывала сама пропитание. Она давно забыла, как бегала жеребёнком среди высокой травы, и горячий запах нагретой земли тревожил ноздри, и весёлое ржание вольных собратьев манило к игре.

Нет, нет, эта воля, эта игра – только иллюзия. Майя<sup>5</sup>. Прельщая заливными лугами свободы, домашним очагом с сытной едой и тёплой женой, ухмыляющийся хромой проводник поведёт напрямиком в ад. Опутает по рукам и ногам новыми правилами, стреножит ими и начнёт поджаривать на сковороде повседневности, с которой не соскочить. Вилки кладут в левый ящик, ножи – в правый, грязное бельё складывают в эту корзину. Курить надо в форточку. Кушать не когда хочется, а когда за стол садится семья. «Почему ты не запретишь это Ирине?! У неё теперь есть отец! Скажи своё мужское слово»... «Почини кран (будильник, электропроводку)! У меня теперь есть муж»... Новорождённая малышка станет разрывать ночь криками, пачкать пелёнки, которые будут сушиться по всей квартире и наполнять её удушающим запахом детского поноса, хозяйственного мыла, сырости и тоски.

Иллюзия любви. Иллюзия свободы. Игра воображения. Майя. На самом деле всё – тюрьма. Просто объёмы камер – разные. Узник со стажем, Адам хорошо знал: главное – чтобы сокамерников было поменьше. Тогда жить проще, остаётся пространство для тела и души. Он не хотел обживать новую камеру.

А главное – он больше не любил Эву.

Он понял это, когда она с Иринкой приехали к нему прошлым летом. Он был безмерно благодарен Эве за то, что ждала и поддерживала его все эти ужасные годы, стойчески переживала собственные страхи, опасливую настороженность знакомых, голод, безденежье, крутилась на нескольких работах. Но вместо радости встречи чувствовал в себе ужас должника, к которому не вовремя пришёл кредитор за долгом.

Отяжелевшее сердце не рванулось, когда он увидел её похудевшее лицо под шапкой густых рыжих волос, в которые когда-то так любил зарываться губами, ворошить дыханьем. И плоть не взволновалась после девятилетней разлуки.

Когда к семи вечера дворник выгрузил перед баракком Эву с Иринкой и вещами, Адам, только вернувшись с работы, разжигал керосинку, чтобы вскипятить чай. Керосинка не разжигалась, пламя чадило, надо было заменить фитиль. А ещё предстояло нарезать сало. Всё валилось из рук. Услышав голоса, он с куском сала и ножом выскочил во двор.

Эва застыла: неужели этот худой жилистый мужчина с огромным кадыком на тощей шее, с отстранённой улыбкой и запавшим, как у покойника, ртом – её Адам? Где его чувственные губы? Его ласковые, с поволокой, бархатные глаза?

Эва строго одёрнула себя: «Он так много пережил!» – но не могла броситься к нему, как прежде, и обмякнуть, замереть в объятиях. Она стояла молча, пытаясь скорее полюбить новой любовью – такого.

– Вот вы у меня какие стали, – произнёс Адам.

---

<sup>5</sup> Майя (санскрит.) – иллюзия, обман, покров. Всё, не являющееся вечным.

И непонятно было, выражали ли эти слова радость, разочарование или просто означали констатацию факта.

Сгладило неловкость то, что надо было занести вещи, разжечь, наконец, керосинку, завершить приготовление ужина, – и все лихорадочно включились в работу, будто расстались только вчера.

Эва хозяйственно распаковывала узлы и чемоданы. Просила Адама примерить валенки, джемпер, рубашки. Рассказывала историю каждой вещи, добытой тяжким трудом, – как ночной и воскресной работой прирабатывала к скудной зарплате чертёжницы деньги: шила чудненькие платьица себе и Иринке, чтоб выглядеть не хуже других... даже освоила сапожное ремесло и мастерила такую модную обувь из старых сумок и поясов, что стала получать заказы со стороны.

На самом деле Эва говорила о любви и верности, тоске и одиночестве, о том, как душа училась стойкости, тело – терпению. Но Адаму казалось: ему зачитывают обвинительный приговор и приговаривают к отдаче долгов за добытые потом и кровью вещи.

Он понимал: жена как истинная Ева собирала по частям разрушенный очаг. Но чудилось ему: и он в глазах Эвы – выстрадавшая ею вещь, которая стоит ровно столько, сколько пота, крови и страданий за неё отдано.

«Где ты, Белка, вечно смеющаяся Белка?! Тебе не нужны были ни люди, ни вещи, ни дом, ни верность. Ты не рассуждала о добре и зле, о лжи и правде. Ты жила минутой, щедро деля её с тем, кто оказывался рядом, и забывала о нём, когда минута проходила, и рядом появлялся другой. Тебе было, в общем-то, наплевать на всех и всё. Но как же легко и радостно с тобой было!»

Адам деловито расспрашивал Эву о родных, друзьях, соседях. Иринка тарахтела о школе, книгах, поклонниках. Аромат чая из северных трав заполнял комнату. Сладкий портвейн кружил голову, горячил грудь и томил тело Эвы желанием поскорей остаться наедине с Адамом.

А где-то в ночной дали по серо-коричневой земле с красными сполохами знамён и транспарантов среди запутанной чащобы мёртвых каменных зданий, неотвратимых шлагбаумов, холодных железных оград, сонных деревьев и воткнувшихся друг в друга ветвей звенел живой смех убегающей Лилит – черноволосой смуглянки-Белки.

И за ним летела душа Адама – от тепла керосинки и тела жены, сидящей рядом и желающей его.

Его, которого здесь не было. Его, чьи чресла оставались холодны, и чья душа, привыкшая к скитаниям и одиночеству, всё летела сквозь пространство и время, сама не зная, куда.

Пужинали. Иринку забрали соседи. Белая ночь проникала сквозь занавешенное газетой окно.

Неловко, стесняясь друг друга, вымылись по очереди в тесном корыте холодной водой из бочки. И Адам лёг рядом с женой. Провёл обеими руками по её телу. Одной – сверху вниз, от тёплой ямочки между ключицами по налившейся груди к шёлковому затвердевшему животу. Другой – снизу вверх, от ног к бёдрам, минуя влажную горячую ложбинку между ними. Но руки, казалось, не узнавали плоть жены и не хотели узнавать. В них не было нежности, не было желания утолить тоску по прикосновениям. И губы были холодны. Не тянулись, как прежде, к потаённым уголкам её тела.

Он поцеловал Эву в горячие закрытые веки и мягко отодвинулся:

– Давай спать. Сегодня было слишком много событий.

Он чувствовал себя уставшим от потери крови солдатом, который предательски умер на руках медсестры в тот момент, когда она дотащила его до спокойного тыла сквозь разрывы снарядов, кровь и грязь.

«Понимаешь, Эва, – хотел сказать Адам. – Я не могу спать с медсестрой даже в благодарность за то, что вытащила меня с поля боя. Не могу спать с матерью... с генералом, отстоявшим рубежи от врага... с прорабом, отработавшим девять лет на реставрации разрушенного дома. У твоей души стали слишком мозолистые руки, Эва. Я не чувствую в тебе слабого, женского – того, что так любил в тебе. Ты потеряла легкомыслие и воздушность...»

Он не сказал этого. Не мог сказать. Это было бы чудовищно.

– Прости, я перестал быть мужчиной, – пробормотал Адам.

Но Эва поняла. Она отодвинулась от него и молча сухими глазами долго глядела в низкий потолок. Она чувствовала себя обманутой, преданной. Не Адамом, нет – он сам был жертвой этого предательства. Их предала жизнь. Жизнь, которую они так мужественно отстаивали все эти годы.

Горечь поражения, гнев на ужасную несправедливость, невыносимая боль безмерного одиночества захлестнули Эву. А потом охватила огромная жалость. К себе, Адаму, Иринке, к мириадам человеческих существ, жившим когда-то, живущим сейчас и ещё не родившимся.

Все они с радостью и надеждой вступают в мир, хотят быть счастливыми, стараются, трудятся до седьмого пота, обустроивают быт, смиряют гордыню, любят, совершают подвиги во имя любви и верят в сказки с хорошим концом – если семь пар башмаков сносишь и семь железных посохов собьёшь, и будешь по дороге добр к встречным, и не испугаешься Бабы Яги с Кощеем, то обязательно полцарства получишь, будешь свадебку играть, мёд-пиво попивать, жить и добра наживать.

И никто не слышит предостережение очевидца-рассказчика: я там был, мёд-пиво пил, по усам текло – в рот не попало. Мол, неправда, братцы! Не пил я на самом деле мёд-пиво, да и не было его вовсе – не случайно-то в рот ни капли не попало. Не верьте сказке!

Да ведь хочется верить. И как не верить? Жить как, если не верить?

Но слепой силе, называемой роком, судьбой, нет дела до того, во что ты веришь, на что надеешься. Она равнодушно в миг уничтожает нажитое, разрушает построенное, рвёт сотканное, чтобы снова наживали, строили, ткали в тщетной надежде, что уж на этот раз должно повезти.

Вечный круговорот. Вечные качели. Жизнь – смерть. Жизнь – смерть.

Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф! Паф! Ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой.

*«Восходит солнце, и заходит солнце. И спешит к месту своему, где восходит. Идёт ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги своя»...<sup>6</sup>*

Что ж, если не суждено снова побыть женщиной, значит, она будет ему верной сестрой. Ведь он без неё погибнет!

Обрывки сказок, смешавшихся с днями собственной жизни, крутились в голове Эвы. «Несёт меня лиса за дальние леса, за высокие горы, за синие просторы! Котик, братик, спаси меня!» – когда Эва читала маленькой Ирочке эти строки, в голосе её всегда звенели слёзы. Она ощущала ужас и одиночество уносимого за дальние леса Петушка – своего Адама. И чувствовала себя Котиком-братиком, который должен его спасти. А когда читала про Герду, искавшую

---

<sup>6</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Екклезиаста. Гл. 1, ст. 6.

Кая, тоже подступал к горлу комок, – и сейчас поняла: она очутилась в предпоследней главе этой сказки. Как Герда, преодолела долгий путь, полный опасностей, унижений, предательств, преград, но в глазах и сердце найденного Кая не нашла былой теплоты. Однако Андерсен дал подсказку: это просто осколок кривого ледяного зеркала попал ему в глаз, льдинка вонзилась в сердце, их надо растопить. «Я сумею!»

Эва снова придвинулась к Адаму. Но уже иначе – не по-женски, не требовательно, не выжидательно. Она гладила его по лицу, плакала над ним и шептала:

– Бедный мальчик! Бедный! Бедный! Бедные мы, бедные. Ну ничего, ничего. Мы так много пережили, что нам уже ничто не страшно. Ведь правда? Правда? Мы будем терпеливы и мужественны. Всё пройдёт. Всё когда-нибудь обязательно пройдёт...

Благодарность, нежность и грусть медленно заполняли Адама. Настороженность уходила. Забытое чувство близости родного человека стало согревать. Хотя желания по-прежнему не было. Разве можно желать сестру? Они придвинулись друг к другу и целомудренно обнялись, как дети, брошенные родителями.

Так прошла их первая ночь. И ещё пятьдесят девять ночей.

До той последней, когда предчувствие завтрашней разлуки заставило Эву забыть спрятанную обиду, гордость, стыдливость и предпринять самые невероятные усилия, чтоб разбудить уснувшую плоть Адама. И она добилась своего.

*...Это не я, это Ева сорвала плод!*

Уезжала она с малышкой внутри. Но оба об этом ещё не знали. А потом сообщение о её беременности. И вот телеграмма.

...Ах, зачем, зачем было так красно их самое первое обманное яблоко? Зачем прикинулось жизнью, напоённой солнцем и свежестью? Зачем семя его проросло ростками, ставшими ловушкой для желавшей покоя и одиночества души?

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В тот день... вечность тому назад...

Томное лето лениво текло по Баку. Бесстыдное солнце высвечивало манящие розовые абрисы женских тел, обернутых в тугие шёлковые комбинации внутри крепдешиновых платьев. Асфальт плавился, жёг ступни сквозь тонкие подошвы парусиновых туфель. Свежий ветер с моря набирал жар, вырываясь из причудливой вязи узких переулков на широкий проспект, с силой обдавал горячим дыханием разноцветных прохожих. На проспекте весёлые чумазы рабочие варили в огромных чанах чёрное смоляное варево для асфальта – его называли «кир». Горьковатый пар смешивался со сладким ароматом буйных олеандров, пряностей, лёгким запахом нефти.

Вдруг сквозь этот тяжёлый коктейль застенчиво потянуло яблоками. И через минуту сами они после короткого женского «Ах!» застучали об асфальт, покатались к ногам Адама. Маленькая рыжеволосая куколка с тонкой талией, стройными ножками на высоких каблуках и соблазнительно полной грудью с досадой смотрела на лопнувший кулёк. Адам бросился подбирать яблоки.

– Спасибо, – неожиданно низким контральто сказала куколка. – Я бы и сама могла.

Она подняла к Адаму продолговатые, как у Клеопатры, зелёные глаза, в чистой радужке которых среди весёлых коричневых конопушек плескалось солнце. И рассмеялась большим чувственным ртом: таким нелепым показался ей Адам, растерянно прижимавший к себе подобранные яблоки, – ни ей, ни ему сунуть их было некуда.

– Подождите, я газету куплю, мы новый кулёк сделаем.

Адам бросился к киоску. Неловко повернулся – и яблоки снова раскатились с наглым весёлым стуком. Он тоже рассмеялся. А она уже хохотала вовсю.

– Как вас зовут, рыцарь?

– Адам. А вас?

– Эвелина, Эва.

– В самом деле? Вы не шутите? Почти Ева! И яблоко при вас, – Адам показал на последнее яблоко, оставшееся в рваном кулёке. – Угостите! Пусть будет, как положено.

– Не бойтесь?

Казалось, сами имена и ритуальное яблоко преопределили, что им суждено соединиться.

Они встречались почти каждый вечер, проводили вместе все воскресенья. Устраивали шумные пикники с друзьями, катались на верблюдах, фаэтонах, ездили за город смотреть на планеры и восхищаться смелыми авиаторами, прыгали с парашютной вышки на приморском бульваре, кружились в вальсе под духовой оркестр торжественных пожарных в блестящих касках, чинно прогуливались под руку вдоль моря, сверкающего огнями кораблей и нефтяных платформ, бегали слушать поэтов, сами читали друг другу стихи, навевались в нэпманские ресторанчики, где упоённо танцевали непролетарские чарльстон и танго, слушали «Мурку» с «Бубличками» и жеманные волнующие песни Вертинского, по советским праздникам гордо шагали в общей шеренге с транспарантами, а потом собирались в чьём-то доме на вечеринку, где под селёдку с картошкой и молодое вино спорили до хрипоты, *что* стоит взять в социализм из буржуазного наследия родителей, а буржуазные родители посмеивались над ними, подливали чай, накладывали в розетки янтарное инжировое варенье.

И из старинных резных рам смотрели мудрыми кавказскими глазами буржуазные дедушки и бабушки. Они, казалось, прислушивались к маршам, льющимся из чёрной тарелки радиоприёмника, что-то хотели сказать, о чём-то предупредить.

Но Адам и Эва видели и слышали только друг друга.

Им было двадцать. И дух их был молод, и ковали они счастья ключи, и делали сказку былью, и всё выше стремили полёт, и гудел вместо сердца пламенный мотор, и взвивались кострами синие ночи, и картошка была объеденьем, и Сталин был им отец, дал руки-крылья, а сам искал и искал свою Сулико, но не мог найти, и утро красило нежным светом стены древнего Кремля, и пройдя дневной путь, утомлённое солнце нежно прощалось с морем их города, а где-то далеко-далеко, в бананово-лимонном Сингапуре лиловый негр всё подавал и подавал кому-то манто<sup>7</sup>.

Летели годы. Уже подрастала Иринка. А Адам и Эва были по-прежнему неприлично счастливы. «Я – ты, и ты – я. И где ты – там и я. И я во всём. И где бы ты ни пожелал, собираешь ты меня. И собирая меня, собираешь себя»<sup>8</sup>.

*...Зачем, зачем было так красно то обманное яблоко? Зачем прикинулось жизнью, напоённой солнцем и свежестью? Зачем семя его проросло ростками, ставшими ловушкой для желавшей покоя и одиночества души?!*

Но солнечный день первой встречи и все пролетевшие за ним солнечные годы снова и снова вспыхивали в памяти Адама. Может, в самом деле, так суждено, predetermined неведомыми силами, – и он должен, должен преодолеть себя, вернуться к домашнему очагу к суженой, матери его двоих детей, раз уж он напросился когда-то на то чёртово яблоко?!

И вдруг из глубокого омута разбуженной памяти, из-под растревоженного ила освободилось и тяжело всплыло, как громоздкое страшное чудовище, ещё одно воспоминание, которое похоронил Адам когда-то на самом дне, завалил камнем и не вспоминал девять лет.

---

<sup>7</sup> Строки из разных песен конца 20-х – начала 30-х годов XX столетия.

<sup>8</sup> Из Апокрифа «Евангелие Евы».

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Двухсотваттовая голая без абажура лампа на длинном проводе опущена на уровень его лица. Глаза, в кровоподтёках от побоев, горят от нестерпимо яркого света. Но закрыть их нельзя: только сомкнёшь веки – новый удар под дых. При этом надо удержаться на табурете, где без опоры для избитой уставшей спины и без сна он сидел уже вторые сутки, – иначе под-ручный следователя ударами сапога загонял сползшее тело обратно на табуретку.

Этот бесформенный осевший куль меньше всего был похож на стройного двадцатидевятилетнего юношу, который позавчера радостно кружил дочурку под духовой оркестр на приморском бульваре и, не стесняясь, при всех целовал свою маленькую жену. Она, смеясь, журила за это и одновременно гордилась, что у неё такой любящий муж и такая красивая зеленоглазая дочка в нарядном белом платье с оборками и огромным бантом в тёмных вьющихся волосах. Стоял жаркий июньский день 1936-го года. Они были молоды, веселы, и прекрасное счастливое будущее ожидало их...

...Взять ручку, обмакнуть перо в чернильницу, поставить подпись под признанием – и издевательства прекратятся. Возможно, завтра они начнутся снова. Возможно, за этим последует расстрел. Но он получил бы передышку, которой требовала каждая клетка тела и мозга.

Он уже был готов сделать это. Он даже хотел сделать это. И – не мог.

«Вот, сейчас, сейчас... Ведь и так уже всё поггло!» – но что-то удерживало руку.

В «признании», написанном за него, были слова не только о том, что он, Адам, разоблачённый сотрудниками НКВД враг народа, – здесь же содержались строчки и о том, что его лучший друг, большой громогласный и смешливый лётчик Карик Пахлавуни, тоже враг народа и шпион, который собирался раскрыть иностранным агентам тайны советского самолётостроения, и, дескать, сознавшись в этом, Адам надеется облегчить свою участь.

– Он ваш лучший друг? – спрашивал Адама следователь.

– Да.

– Он всегда был для вас поддержкой?

– Да.

– И вы для него?

– Старался.

– Вы часто встречались и разговаривали?

– Конечно, раз он мой товарищ.

– Вы были настолько близки, что могли говорить обо всём?

– Да.

– Но вы враг, это доказано. Значит, делились замыслами с товарищем и во всём поддерживали друг друга. Вы только что сами в этом признались, – потирал руки следователь.

Добавить к правде немножко лжи, взболтать. Этим старинным рецептом следователь владел почти в совершенстве. Он удовлетворённо потирал руки и что-то старательно записывал в «показания».

– Подписывайте!

«Вряд ли от наличия или отсутствия моей подписи что-то зависит», – уговаривал себя Адам. Обмакнул перо в чернильницу. Но рука сама, как бы даже без участия сознания, вывела: «Это неправда. Это страшная ошибка. Прошу разобраться»...

– Дружка покрываешь?! – осипший от длительного допроса следователь, казалось, вновь обрёл голос.

Следователь сам устал от двухдневного бдения, еды всухомятку, металлического прикуса чая из термоса. Несколько раз звонила жена – приходилось объяснять своё отсутствие, ссылаясь на крайнюю занятость и приказ начальства. Но ещё хуже: звонило и начальство, – приходилось подобострастно оправдываться и перед ним за то, что не мог выбить признания из этого упорствующего интеллигента, казавшегося на вид таким хиляком.

После каждого звонка начальства следователь покрывался холодным потом. Он боялся за собственную судьбу – некоторые его коллеги уже сменили кресла на тюремные нары. Подташнивало от выкуренных папирос, бессонницы, запаха мочи и крови.

Яркий свет, бьющий в лицо Адаму, слепил и его. И хоть сидел он вдали, в тёмной половине комнаты, а лампу отгородил от себя газетой, прикрепленной к шнуру, но свет всё же пробивался сквозь газету и полуприкрытые веки, проникал в мозг. Болела голова. Происходящее было пыткой и для него.

И увидел, почувствовал Адам: не только он зависит от следователя, но и следователь – от избитого измученного арестанта. Следователь тоже несвободен, только как-то иначе.

Глаза их встретились. Каждый ждал от другого решения своей участи. Каждый участвовал в страшной игре, где победа вовсе не predetermined, и Высший Судья может засчитать победу поражением, а поражение – победой.

Участь... Участие... У части... У части чего стоял каждый из них? Частью чего, что определяет судьбу, являлся?

Судьба... Суд... Над ним ли, Адамом, творится суд? Творит ли его кто-то над ними обоими? Или оба они творят его над прошлым и будущим? А может быть, суд обоим ещё предстоит?

И вдруг Адам понял... Это было как озарение, как вспышка сознания, разом в одно мгновение проникшего в самую суть вещей: каждый был частью своего мира – и их миры не пересекались.

Они не пересеклись, не могли пересечься даже здесь в этой маленькой комнатке, пропахшей потом, кровью и папиросным дымом.

Невидимая граница проходила между его табуретом и столом следователя – там, где тьма начинала поглощать свет.

«Следователь мёртвый! – догадался Адам. – Давно уже мёртвый. Может, всегда был мёртвый. Как и его подручный с оловянным взглядом. Только плоть их ещё существует и дрожит от страха, что завтра ей не дадут вкусной еды, тёплой одежды, жилого пространства. Мертва их душа. А может, и не жила никогда?»

И Адам ощутил, как тёмен и страшен мёртвый мир этого одутловатого потного человечка с прилипшими ко лбу жидкими волосами и бледным голосом. Как враждебен этот мир каждому, кто признаёт себя его частью, вынуждая лгать, изворачиваться, исполнять чужую волю, оправдывая своё существование перед женой, начальниками, товарищами и добиваясь прав на скудную зарплату, на дополнительный паёк, на тарелку горячего борща, стакан водки по выходным. И получать эти жалкие права не навсегда – только на каждый данный момент. А в следующий начинать изматывающую борьбу снова, уничтожая при этом вокруг и в собственной жизни всё светлое, радостное, смеющееся, живое. И вместе с этим пожирая себя самого.

На краю гибели арестант судил тюремщика. Но не было в этом удовлетворения. А было бесконечное одиночество и беспредельная тоска. И чем больше мерзкого находил он в мучителях, чем неистовее ненавидел, чем отчаяннее сопротивлялся, тем сильнее ощущал в себе

самом холодную пустоту небытия. Казалось, пустота зачавкивает его, как болото, которое быстрее поглощает того, кто машет руками и ногами в тщетных попытках выбраться.

И не стало добра, не стало зла. Не стало начала, и не стало конца. И не было смерти. И не было Воскресения. Осталась только мучительная данность мгновения. Краткость мгновения. Бесконечность мгновения. Повторяемость мгновения. Мгновения противостояния двух миров – живого и мёртвого, вечного и преходящего, светлого и тёмного, который, как засасывающая воронка, жадно втягивает в своё чрево свет и не может насытиться.

И с тоскливой ясностью понял Адам: будущего нет ни у него, ни у следователя. Но у следователя, пожалуй, не было и прошлого. Не было любви к родителям – был вечный страх перед отцовским ремнём и материнским окриком. Не было любви к женщине и делу – были только семейные и служебные обязанности. Не было пожелтевших фолиантов, под заплётёнными золотыми обрезами которых жили великие люди и нетленные мысли, – в его скудной жизни были лишь инструкции и приказы-однодневки.

За ним не стоял, как за Адамом, отчий дом с круглым дубовым столом посреди гостиной, за которым под жёлтым абажуром с кистями собиралась вечерами большая семья, – все любили друг друга, смеялись, играли, слушали музыку, читали вслух стихи и книги, беседовали о жизни, а не о быте, и шутили над нехватками.

Отец Адама, Сурен Яковлевич, известный в Баку адвокат, рассказывал о хитросплетениях судеб, рассуждал о справедливости и милосердии, о законах разных государств и общечеловеческих ценностях или перечитывал вслух письма дочки, сестры Адама – Терезы, уехавшей из Баку в Москву учиться и осевшей там, выйдя замуж. Двоюродная бабушка Елизавета Христофоровна – тётя Лиза (её никто не называл бабушкой из-за озорного не по возрасту взгляда) – разливала чай по старинным фарфоровым чашкам с пастушками, тут же на краю стола перебирала крупы, резала овощи, а закончив приготовления к завтрашнему обеду, сгребала в кучу носки всей семьи и начинала их штопать, временами вмешиваясь в общий разговор и подшучивая над его участниками, иногда вводя тех в краску солёным словцом. Тёте Лизе помогала Эва, у ног её играла Иринка. И тихо улыбалась, глядя на всех кротким взглядом дочь тёти Лизы, худенькая старая дева, учительница русского языка и литературы, с ласковым домашним прозвищем Аинька, которое так подходило к ней, что никто не звал её иначе, кроме учеников и коллег. Часто приходили гости – сотрудники Сурена Яковлевича, Аиньки, друзья Адама, сёстры Эвы. Разгорались споры, подчас повышался до опасного уровня тон разговоров. Но взаимное уважение и патриархальный *правильный* покой витали над круглым дубовым столом.

Всё это в мгновенье промелькнуло перед внутренним взором Адама. Разлилось теплом по телу, выдохнулось, обняло ласково, будто укутало. Успокоило боль.

Любовь, верность, честь, достоинство, благородство были не отвлечёнными понятиями в семье Адама – они были нитями, из которых ткалась повседневность. Нитями, соединявшими не только членов семьи друг с другом, но каждого – с огромным миром за стенами дома: с защитными отца, с учениками Аиньки, вовсе с незнакомыми людьми – авиаторами, путешественниками, учёными, создателями фантастических проектов, сочинителями книг и музыки, живущими не только рядом, но и на другом конце земли и даже в других временах.

Мир Адама обступил его. Он существовал, будет существовать, должен существовать всегда, даже если прервётся его, Адама, жизнь! Как ни странно, эта мысль придавала силы.

Следователь встал из-за стола:

– Пойду на полчаса подышать свежим воздухом, – сказал он помощнику. – А интеллигент пусть подумает...

Мысли путались в голове уставшего арестанта. Однако при этом, как бывает в промежутке между сном и явью, когда только проснулся и ещё не совсем включился в реальность, мысли выстраивались в странную, но весьма последовательную цепочку.

В чём смысл жизни, которую он может ни за что потерять? В чём смысл вообще?

Некоторые говорят: смысл жизни – в самой жизни. Это неправда.

В том, что называют «сама жизнь» – только радость бытия, и не более того. Это много. И очень мало. «Сама жизнь» в любом случае уйдёт – даже если повезёт, и не случится никаких трагических событий. Она всё равно уйдёт вместе с молодостью, здоровьем, с зубами, которыми не сможешь больше есть шашлык и грызть орехи.

Что такое «сама жизнь»? Пить, есть, совокупляться, иметь крышу над головой, дерево под окном, удобную одежду, здоровье, некоторый материальный комфорт, несколько вещичек, приятных душе и глазу, несколько человек, с которыми время от времени разделяешь это, и сносную работу, дающую средства к обладанию этим? Достаточно, чтобы не чувствовать себя несчастным. Но недостаточно для того, чтобы чувствовать себя сильным, уверенным и счастливым.

Дом может рухнуть. Дерево под окном могут вырубить или оно само засохнет. Деньги можно потерять. Более того, теряешь и любимых. Родители умирают. И жена может умереть, изменить или измениться за годы настолько, что это тоже равносильно смерти или измене. Дети не всегда вырастают такими, какими хотелось бы их видеть, и в любом случае, как бы хороши ни были, отдаляются от родителей, что естественно.

И что же? Вместе с элементами жизни теряется её смысл?

Да. Для тех, для кого «смысл жизни в самой жизни».

Но, похоже, жизнь гораздо больше, чем все собранные суммарно её предметные элементы. Они уничтожимы, она – нет.

Всегда будут плескаться дельфины в море, петь птицы, люди будут строить дома, сажать сады, придумывать умные машины, сочинять книги и музыку, изучать историю, пытаться понять тайны мироздания и любить друг друга.

На краю гибели он пробивался к пониманию чего-то очень важного.

К тому, что должно придать смысл происходящему, фокусируя в одной точке прошлое и будущее, которого у него, скорее всего, не будет.

*Смысл – в причастности*, сформулировал он. В осознании более главного и целого, что главней и полней, чем ты сам. В ощущении себя *частью* чего-то большего – семьи, рода, круга единомышленников, родины, культуры, истории, человечества, природы, Космоса, Мировой Гармонии, быть может – Бога. Звеном между значимыми частями Целого.

Без ощущения этого ты – отброс. Выброшен из жизни, занимаешь лишь микроскопическую часть в ней: только кровать, на которой спишь, стол, за которым ешь, – не более того. Как ни тщишь, не более того!

В том, что чувствовал сейчас Адам, не было ничего общего с насаждаемой теорией «винтиков и гаечек», якобы скрепляющих общество. «Винтики» и «гаечки» бездумны, лишены личной ответственности. Наверное, следователь с помощником тоже чувствуют себя *причастными*... к великому делу строительства коммунизма, очищения общества от вредных элементов. Цель оправдывает средства? Может быть, может быть. Но всё-таки *средства* каждый выбирает для себя *сам* из множества тех, которые предлагает общество. Всегда – *сам*! Как только требуется совершить поступок, произнести слово. А чтобы *правильно выбрать* слово и посту-

пок, надо осознать своё *предназначение, избранность* – ведь каждый предназначен для чего-то, избран для чего-то. Нужно только угадать – *для чего?*

Осознание этого упорядочивает порывы, одухотворяет, придаёт смысл существованию, ибо даёт ясный ответ на мучительный извечный вопрос: «*во имя чего?*»

Этот выбор предопределён историей – своей и близких, не только ныне живущих, но и ушедших из жизни, чью эстафету считаешь долгом подхватить, волю – исполнить, дела – продолжить, духовные ценности – сберечь и передать дальше.

Коллективная ответственность и осознание *общих* целей вовсе не предполагает отсутствия *личной* ответственности за собственный выбор – личной победы, личной вины. И потому не должна лишать человека индивидуальности.

Адам вздрогнул от неожиданно пришедшего на ум слова, которое словарь побеждающего людей социализма давно уже отнёс к ругательным терминам.

«Я рассуждаю, как *индивидуалист*, и значит – в самом деле скрытый враг народа, только не догадывался об этом, – обречённо подумал Адам. – Такие, как я, могут разложить народ, запутать, размягчить его решимость идти вперёд».

Он ужаснулся и осудил свою ничтожную мелкобуржуазную сущность, которую бдительные органы НКВД вовремя разоблачили и остановили его, пока он не совершил вредительства, которое мог бы совершить. Он готов был покаяться.

Но в утомлённом сознании опять закачался жёлтый абажур с кистями над круглым дубовым столом, за которым собралась его большая дружная семья. Все замолкли, ожидая, что он сделает.

Из тяжёлых рам смотрели выжидательно дедушки и бабушки. Смотрели книги из резного книжного шкафа.

А где-то на другом конце города вернувшийся из полёта Карик Пахлавуни играл на рояле Шопена, а у ног его сидел сын Рафка и восхищался большим чудесным отцом, из-под сильных пальцев которого выходят такие волшебные звуки.

Они летели над городом, над морем, залетали в открытые окна бакинских домов. Они взметнули летним сквозняком лёгкие занавески и в отцовской квартире, наполнили комнаты, донесли до соседей.

Они проникли и сюда, в эту страшную пыточную, разделённую на два сектора мучительного света и спасительной тьмы, коснулись души Адама и замолкли в паузе перед тем, как раскатиться аккордами бурного финала.

Адам увидел, как большие руки друга замерли над клавишами. И вздрогнул. От него – только от него! – зависит, опустятся ли они снова.

Свет, бьющий в глаза, почему-то перестал быть таким мучительным, и тьма другой половины комнаты уже не казалась спасительной. Напротив: яркий свет будто проник в самые потаённые уголки души, высветил главное, что хотела пожрать тьма, прикидываясь спасением.

Раздражённый следователь вошёл в комнату и устало сел в тёмном углу, поигрывая револьвером.

В этот момент Карик опустил руки на клавиши – и Адам соединился с миром, которому принадлежал, на рубеже которого стоял и который призван был защитить.

Теперь он твёрдо знал свою задачу. Он почувствовал себя счастливым и сильным, потому что так много всего любил и так много прекрасных людей любило его.

И Адам... пожалел следователя, который, видно, никогда не знал таких чувств.

Он пожалел следователя и его начальников, которые не любили даже самих себя.

И жалость эта была так огромна, как огромна была заполнившая его любовь.

И вдруг на краю сознания, на грани жизни и смерти зазор между бытием и небытием стал расширяться. Погас бьющий в глаза свет. Ушли боль и страх. И в раскрывшемся пространстве забрезжил другой свет.

И Адам потерял сознание, успев произнести слова, самые нелепые из тех, что слышали стены этой комнаты:

– Простите, я ничего не могу для вас сделать...

Он не видел, как сначала вздрогнул от такой наглости следователь, а потом сник, съёжился, спрятал револьвер и бесцветным голосом устало сказал:

– В камеру.

Падая, Адам задел рукой газету, прикреплённую к шнуру лампы и отгораживающую её от следователя. Газета упала на пол.

И ослепительный свет ринулся в самые тёмные углы комнаты, заполнив собою всё.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Спустя десять лет, теребя телеграмму о рождении второй дочки и, наконец, решившись ехать к семье, Адам вдруг в подробностях, хоть не без внутреннего сопротивления, вспомнил тот эпизод.

Воспоминание пришло как подсказка, как невнятный ответ на немой вопрос: чему он, оторванный от нормального общества зэк со стажем, может научить родившуюся сегодня малышку?

Без ответа на этот вопрос он чувствовал себя беспомощным и не мог найти в себе места для радости – он был до отказа заполнен знаниями, ненужными на свободе.

Он знал, как удваивать количество спичек, аккуратно разрезая продольно каждую из них ржавым краем консервной банки, служившей долгие годы кружкой и миской. Знал, что смешав хлеб с водой, лучше наедаешься, особенно, если ешь эту тюрю медленно.

Он знал, как с наименьшими затратами сил корчевать пни – сначала подрубить каждый со всех сторон, долго выламывая киркой тяжёлые пласты земли вокруг и вросшие в неё узловатые корни, после чего подковырнуть пень и с криком «У-ух!» вывернуть разом. Он знал радость предвкушения момента, когда пни надо будет сжигать – и разгорится на снегу весёлый жаркий костёр, возле которого можно греться, любоваться сполохами, игрой света и тени, красотой рдеющих на белом снегу углей.

Он знал высокую, почти чувственную радость самоотречения, какой никогда не ощущал в долагерной жизни – вероятно, она приходит в экстремальных условиях коллективного выживания. Да и то не ко всем, а к тем, в ком силён извечный инстинкт жизни, ибо жалость к себе лишает сил, а самоотречение прибавляет.

Только полностью забыв о собственной значимости, соединяешься в одно с напарником по работе, с товарищем по нарам. Его начинает питать жизнь твоих мышц и духа – её прибывает и у тебя, как молоко у матери, когда она кормит ребёнка, и пропадает, когда она отнимает дитя от груди. Сердца начинают пульсировать в унисон, ритм движений и дыхания делается общим – и лучше ладится работа, тело наполняется теплом. И душа расправляется – будто ей просторнее в двух существах, чем в одном.

Это всё – особенно последнее! – очень важно. Но что-то ещё есть в его закромах – что-то самое главное! – чему он может и должен её научить. Что? И всплыли в памяти те первые два дня допроса после ареста, которые перевернули всю его жизнь.

Перевернули не потому, что за ними последовали годы тюрем, лагерь, работа до полу-смерти. А потому что именно тогда, в момент наивысшего напряжения физических и духовных сил пережив катарсис, обняв мысленно Землю и лучшее на ней, он, маленький человек, преобразился в человечество, навсегда перестав быть одиноким.

Он так не формулировал – он так чувствовал. Он не мог ещё облечь чувство в слова, но уже нащупывал их в попытке понять – для чего и как следовало теперь жить. И впервые с благодарностью подумал о тех двух днях, рискнув предположить: они были даны не случайно, имели смысл и назначение не только в его судьбе.

То, что он обрёл тогда, – не личное достояние. Он должен передать это. И новая дочка дана, чтобы было кому передать. И может быть, может быть, не только ей, а через неё – дальше, дальше... тем, кого он не знает и не узнает никогда.

Что же такое важное обрёл он в той страшной комнате?

Свободу. Да, свободу, как ни парадоксально. Свободу духа и неразрушаемую целостность. Приговорённый к поражению, он победил в битве – что-то главное в нём, составлявшее сердцевину существа, стало могущественным, почти неуязвимым.

Это позволило согласиться с судьбой, принять её, очистило душу от бесплодных сожалений, ненависти, амбиций. И дало силу жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. Помогло миру, из которого он был вырван, проникнуть за колючую проволоку, где оба мира наложились друг на друга, – и у Адама открылось *второе зрение*.

Он стал видеть, как прорастала доброта в жестокости, красота в уродстве. Улыбнулся, вспомнив, как пересказывал заскорузлый урка товарищам какой-то роман, млея от волшебных слов из незнакомой красивой жизни:

– Графуня! – вскричал граф, взлетая по мраморной лестнице. – Где мои брульянты?

– Бля буду, не брала, – гордо сказала графуня...

«*Несмотря на... всё-таки!* – коряво сформулировал Адам ядро своего понимания того самого важного, чему он может и должен научить дочь. – Да, да! *Несмотря на... всё-таки!*»

С телеграммой в руках он просидел у окна всю ночь. Над унылой плоской равниной, над болотцами с осевшим сереющим снегом, над одинаковыми стоящими в ряд бараками разгоралось солнце. Но оно было не тёплым и близким телу, как в городе его детства и юности, а холодным, далёким. Таким же унылым и равнодушным, как пейзаж, на который опускался мертвенный бессильный свет и, казалось, никак не мог соединиться с землёй. Здесь всё существовало как бы отдельно, не сцеплялось в единый живой мир, не разговаривало друг с другом – возможно, это и рождало в местных людях пресловутое северное немногословие, которое через год-два поражало, как заразная болезнь, даже пришельцев из других, более шумных и горячих краёв.

– Да! Да! Вот главное, вот *ключ: несмотря на... всё-таки!* – повторял упрямо Адам, глядя на блёклые краски за окном. – Это *ключ*. Это моё наследство. Только надо суметь передать его. Как я мог не хотеть ехать?!

Наутро Адам дал телеграмму Эве, попросил назвать девочку Софией и засобирался в дорогу.

И только решил вернуться к семье, сразу будто само собой всё устроилось – в тот же день пришло письмо от бывшего соллагерника, который писал про уютный украинский город Борислав, где обосновался, сообщал о вакансии финансиста и о том, что место придержат для Адама, если тот не будет медлить.

Адам решил: это – судьба. И уже не противился ей.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– Сонячко!

То ли «солнышко» по-украински, то ли имя её – Сонечка.

– Сонячко! Пишли суницю шукати!

Соседские дети бегут на опушку леса, который недалеко от дома, весь светится. Красными капельками мелькает в траве суница – земляника.

Соня колобком катится за ними. Она такая маленькая, что огромные взрослые лопухи накрывают её сверху широкими мягкими ладонями – она теряется меж толстых стеблей, забывает, за чем идёт. Вот весёлые жёлтые лютики ласково касаются коленок клейкими блестящими лепестками – и тут же упруго отскакивают на тонких ножках в сторону, будто играют в пятнашки. Вот мерцающий ручеёк из муравьёв струится среди высокой травы. Соня осторожно переступает их. Каждый муравьишка крохотный, куда меньше Сони, а большие не должны обижать маленьких. Вкусно пахнет клевер. Соня пробует его. Он полезный для коров и пчёл. Может, и ей понравится? Сладко! Только немножко горько. Шоколадные конфеты вкуснее.

Божья коровка садится на руку.

– Божья коовка! Улети на небо! Там твои детки! Ждут твои конфетки!

Соня очень старается произнести «р» в слове «коровка». Не получается! А мама говорит: если Соня не освоит эту рычащую букву, её не примут в детсад. Мама устроилась воспитательницей средней группы, где четырёхлетки, и сказала, что ей не разрешат взять к себе трёхлетнюю Соню, пока та не научится говорить по-человечески, хотя она уже читает и пишет, чего не умеет никто из маминой группы. Даже противную «р» всегда рисует правильно – лицом в нужную сторону, а не наоборот, как соседская Надька, которой в следующем году идти в школу.

Порасспрашивав про буквы, Соня выучилась читать сама, чем повергла родителей в изумление, – и очень гордилась произведённым эффектом. Чтение было в семье занятием уважаемым.

– Подумаешь, большие! – вспомнив с обидой про детей из маминой группы, которым она «не ровня», Соня смачно плюётся, как надькин папа.

Толстый муравей шарахнулся от облака слюны, затмившего небо, но не успел – влажная пена накрыла его.

– Бедный! Сейчас я тебя высушу...

Обтирая муравья, нечаянно переламывает тельце.

– Я тебя сломала?

Значит, *раз – и всё?* Так просто сделать живое неживым?! Особенно маленькое живое? А Соня такая маленькая, даже меньше ростом, чем её ровесники, – все думают, что она ещё прошлым летом была грудной. Значит, и её так же легко сломать, сделать неживой?

Соня растопыривает пальцы и разглядывает, будто видит впервые.

Сквозь ладошку просвечивает солнце. Пальцы розово-прозрачные на просвет, только косточки тёмные. Тоненькие, но двигаются – живые!

Соня проводит рукой по жилистому лопуху и вдруг как-то особенно остро ощущает его ласковую шершавость. Она живая, она чувствует! Как это хорошо – *быть живой!*

Соня жадно торопится насытить пальцы прикосновениями – и не может: всё такое разное на ощупь!

Коснулась шелковистой коры веток куста, мохнатой гусеницы, пыльного складчатого пня, гладкого каменистого панциря улитки, с удивлением прислушиваясь к разговору, который её рука, оказывается, ведёт с окружающим миром. С силой вдавила босую ногу в землю – и нога вступила в разговор: сырая, податливая, тёплая почва обняла ступню, захладила влагой раздавленной травы, молочком сломанных одуванчиков. И запахла, запахла. Соня вдохнула

нагретый воздух – в ноздри ворвались потоки ароматов, потекли по телу, то разделяясь, то смешиваясь. Обняли звуки – всё вокруг шуршало, звенело, жужжало, шелестело, усмехалось, цокало, постукивало, посвистывало, шептало.

Удивительные ощущения переполняли Соню – она впервые *чувствовала, как чувствует*, впервые обратила внимание на пьянящее многообразие собственных ощущений.

– Я живая!

А бедный муравей уже ничего не чувствует. Поникли его усики – они никогда уже не порадуются душистой царпучей крошке хлеба. Скрюченные лапки никогда не тронут травинку, не обнимут деток. Он ослеп и оглох. Погасло для него солнышко, онемела природа. Соня зажмурила глаза, зажала руками уши, задержала дыхание. Как это скучно – ничего не видеть, не слышать звуков и запахов! Затосковала на минуточку: не просто маленькое живое существо убила она, а огромный ласково пахнущий и поющий именно для него особенный мир!

– Я больше не буду, – сказала кому-то Соня.

А божья коровка не улетает – будто приклеилась. Может, и она уже неживая? Может, и её Соня убила, когда махала рукой? Нет, шевелится, если потрогать, старается вжаться в кожу, сильнее прицепиться шершавыми лапками. Наверное, просто нет у неё конфеток. Нечего нести деткам. Вот и Соне мама вчера не купила конфет, хоть Соня так просила!

– Сонечка, если мы купим конфеток, то не останется денег на яички. А яички полезней конфеток.

Интересно, а что полезно божьим коровкам? И почему они – божьи? Они, что, какое-то особенное молоко специально для Бога делают? Но у них же нет вымени! А может, ярко-жёлтая краска, оставленная божьей коровкой на руке, – её молоко? Соня лизнула жёлтый след. Горько! Но, может, Богу нравится? Сколько же ему надо иметь таких коровок, чтобы насытиться?

Соня видела Бога. Живого и неживого.

Живой жил на цветной деревяшке в углу кухни у надькиной бабушки. Он смотрел на Соню ласково, как папа, и, казалось, говорил: «Я люблю тебя, хоть ты не всегда бываешь хорошей». Соне делалось внутри тепло – и она старалась так же изливать из глаз любовь на маму с папой, соседского кота, квартирных хозяек тётю Кысю с тётёй Ядей, даже когда те сердились. Тем более что Соне говорили: её большие карие глаза похожи на глаза Бога, когда тот был маленький и сидел на руках своей мамы лицом к людям, как любила Соня, когда была грудничком. Соня хотела и взгляд сделать похожим на взгляд Бога, которого все любят за то, что он любит всех.

– Что ты глаза выпучиваешь? – пугалась мама.

А Соня огорчалась, что и её не понимают, как этого доброго одинокого Бога, про которого рассказывали тётя Кыся с тётёй Ядей.

Это у них над кроватью висел прибитый к гипсовому кресту гипсовыми гвоздями неживой Бог. Облупленный, бледный, он был похож на потускневшую бабочку, проткнутую булавкой. И кровь стекала по мёртвому лицу с закрытыми веками, по рукам, ногам.

Тётя Кыся с тётёй Ядей часто целовали его. Наверное, хотели оживить, как оживляли в сказках принцы спящих королевен. Но у тёти Кыси с тётёй Ядей не получалось.

– Может, надо поцеловать сломанного муравья? Вдруг у меня получится? – подумала Соня.

Подняла его с листика, куда заботливо положила, поднесла ко рту – и нечаянно раздавила губами. Муравей оказался кисленьким. Соне понравилось. Надо будет ребятам сказать... Ой, небось, они без неё уже всю суницу зылы!

– И я куштовати суницу хочу, – Соня выкатилась из-под лопухов на поляну.

Она легко в мыслях и в речи переходила с русского на украинский и польский. Так делали все в этом маленьком городке с красивым мужским именем Борислав, затерявшемся на Западной Украине где-то под Дрогобычем недалеко от Львова.

Соня не помнила, как сюда переехала её семья, не знала своей далёкой южной морской родины и не подозревала, что явилась причиной воссоединения родителей.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приехав в Борислав с кучей хороших характеристик, Адам тут же устроился работать в финотдел объединения «УкрНефть». Снял комнату, которую две сестры-врачихи, старые девы, нелюдимые суровые польки Крыся и Ядвига, согласились сдать интеллигентному непьющему человеку, пострадавшему от советской власти, тайно не любимой ими. Не были они и против приезда его семьи – этот деликатный маленький армянин с польским именем иссохся без женской заботы. И к осени сюда приехала Эва с детьми.

Иринка неожиданно для Адама превратилась в кокетливую девушку с изумрудными, как у матери, сияющими глазами. С оживлением в предчувствии новых знакомств пошла в местную школу, где предстояло закончить последний класс, обзавелась десятком шумных приятелей, с которыми вечно пропадала то на волейбольной площадке, то в походах, то в чужих яблоневых садах. Училась легко, шла на медаль, собиралась поступать в Москве и стать педагогом.

Соня тоже радовала родителей смыслённостью и любопытством.

Детские коляски были непозволительной роскошью, малышей таскали на руках. Эва то и дело ловила удивлённые взгляды прохожих: дочка заставляла носить себя не лицом к материнской груди, как принято, а лицом наружу – разглядывая мир огромными чёрными глазами, Соня чему-то смеялась, что-то лепетала. Вдумчиво изучала незнакомые предметы, не плача даже тогда, когда колола неловко схваченная ветка или обжигала раскалённая лампочка. В такие моменты она изумлённо замирала и, казалось, о чём-то размышляла, делая какие-то выводы.

Хозяйки-польки были довольны интеллигентной семьёй, которая привезла с собой не только барахло, но и книги, чистюлей Эвой, серьёзным молчаливым Адамом, весёлой и вежливой Ириной, а главное – малышкой, оживлявшей их сухую девственную бездетность.

...Ирина, как и хотела, поступила в Московский пединститут. Соня выучилась производить «р» после ежедневных состязаний в рычании с соседской собакой и была принята в мамину среднюю группу детского сада, где тут же покорила детей тем, что умела рассказывать сказки. Адам дважды в неделю ездил по вечерам в Дрогобыч, где работал по совместительству преподавателем тамошнего филиала Львовского учебного комбината Центрального статистического управления СССР, и почти не виделся с семьёй. Денег не хватало. Приходилось ежемесячно высылать немалые суммы Ирине в Москву. Соня часто болела – и врачи прописали ей полноценное питание, следовать чему было нелегко. Эва разрывалась между работой в детском саду и беготней по очередям. Послевоенное время долго было на Западной Украине тревожным и скудным.

– Муку привезли. Я вам заняла очередь...

– Тильки пол-кила в одни руки!

– Хиба ж мне хватит? У менэ диты!

– А в лавке керосин дают! Народу – тьма! Придержите в этой очереди мне место, а я вам в той займу...

– Куда пролазишь, килька бешеная?!

– Завтра, говорят, подвезут мыло... и фильдеперсовы чулки...

– Не надейтесь! Их по предприятиям будут продавать, и только коммунистам...

– А зачем коммунистам фильдеперсовы чулки?

– Ах ты, контра! Давай отсюда! Не место тебе в советской очереди!

– Понаехали тут, рожи жидовские! Мало вас немец бил...

– Я на днях духи «Красный мак» отхватила. Дорогу-у-щие! Но запах!

– Да-а... А мне денег не хватило – с нас на работе собирали деньги для голодающих США.

– Там тоже люди, тоже есть хотят. Мы-то всё же победители!

- И они вроде победители...
- Им капиталист жрать не даёт. А у нас своя власть, народная!
- И когда нехватки кончатся?
- Когда голов больше, чем ртов, будет.
- М-м... Что вы имеете в виду? Эй, солдатик, разберись с этим врагом народа! Он на нашу власть клеветает! Давай, давай, веди его, куда следует! Очередь меньше станет...
- Может, он бандеровец? Говорят, они во Львове вагоны с зерном отравили. Вот и перебои с хлебом...
- Да, если б не бандеровцы, жизнь бы наладилась...
- Соня с ужасом прислушивается к страшному слову «бандеровцы».
- Мама, а может, они и муку отравили? И не надо её покупать? Пойдём отсюда...
- Молчи, Соня! Не болтай о том, чего не понимаешь!

Но Соня понимает! Раз взрослые гасят голос и непроизвольно оглядываются, значит бандеровцы притаились рядом, прикинувшись людьми, – и взрослые не умеют их распознать. Похоже, эти существа живут в лесах, но выходят оттуда в поисках добычи, которую утаскивают в чашу, и там пируют, обсасывая у костров человечьи кости, – по слухам, в лесах видели кострища и скелеты. Начинает тошнить от ужасной догадки: взрослые тоже боятся! Значит, не смогут защитить, если вдруг бандеровец захочет утащить её. Значит, она *сама* должна приглядываться, готовясь отстоять себя, а может быть – и маму с папой.

Вечерами лёжа в постели она сочиняла истории, главным сюжетом которых были встречи с бандеровцами. Соне всегда удавалось склонить их на свою сторону и убедить исправиться.

– Я вас очень понимаю, – начинала Соня, пытаясь с первых слов заставить себя слушать. – Вы на самом деле хорошие, только голодные.

Бандеровцам нравилось, что они хорошие, – и, чтобы узнать о себе приятное, не торопились есть Соню. Чем дольше Соня льстила им, стараясь говорить искренне, тем сильнее начинала жалеть их. Живут в лесу. А там волки с медведями. Филин ухает. Солдаты с винтовками лес прочёсывают. Страшно. Холодно. Озлеешь тут! Конечно, они сами первые виноваты. Но что уж теперь шум устраивать? Дело исправлять надо!

Сколько раз, когда Соня была первая виновата и от этого выходила какая-то гадость, а мама начинала кричать, папа говорил:

– Что уж теперь шум устраивать? Дело исправлять надо. Соня просто не подумала, *что* из её поступка может выйти. Сейчас она подумает, и всё станет хорошо.

И начинал объяснять маме – Соню, а Соне – почему рассердилась мама. Соня с мамой мирились, обнимались, вместе плакали и вместе пытались исправить содеянное Соней, после чего пару дней жили в любви и согласии.

Точно так же папа объяснял Соне: соседский Колька её побил не потому что злой, а потому что Соня при нём ела испечённое мамой пирожное, которых колькина мама сроду не пекла. Козёл боднул Соню, потому что она его дразнила хворостиной. А Надька украла куклу, потому что у Сони кукол много, у Надьки ни одной, – ей тоже хочется.

– Понять – значит, простить, – говорил папа. – Умный понимает другого первый.

Соня хотела быть умной, но это было трудно.

По мере того, как Соня убеждала бандеровцев, она всё больше жалела их. Ни одному из них никто не говорил таких слов, как говорил ей папа. Не клал нежно руку на голову. Может, и мамы с папой у них никогда не было? Соня боязливо протягивает руку к самому злому лохматому бандеровцу. Осторожно гладит его, как купецкая дочь страшное чудовище в «Аленьком цветочке», – сейчас, сейчас она превратит его в доброго принца! – и рыдает в полный голос от напряжения чувств:

– Ты ведь хороший! И люди хорошие. Им просто живётся трудно, как и вам. Вот и озлели. А зачем вы муку отравили? Людям же тоже еды не хватает! Хочешь, я котлет из дому принесу? Маме скажу: собака украла. Каждый день что-нибудь носить буду! Я маленькая, много не ем.

Соня уже готова обмануть маму, лишь бы угодить бандеровцев и сделать их не такими злыми. Ведь это и для мамы хорошо – за это не съедят ни её, ни папу, ни Соню. А потом всем станет хорошо: через неделю, наверное, бандеровцы исправятся и перестанут вредить людям.

Всхлипывая от полноты чувств и от того, что это она спасла всех, Соня засыпает. А завтра и послезавтра повторяет ту же сцену, честно совершенствуя аргументы – как свои, так и противной стороны.

Выигранная битва с каждым днём становится более весомой.

Если б Адам знал, что в своих фантазиях дочь переживает те же чувства, какие он в подобных ситуациях переживал въяе... и что в ней жалость к недругу сильнее смешанного с ненавистью страха... и для дочки тоже есть нечто большее, чем своё маленькое «я», а значит – какие-то оброненные им фразы оставляют след в её душе! Если б знал, то был бы счастлив. Но он огорчился, что уделяет мало времени Соне.

Она росла среди выцветших бирюлек, польских кружев, безнадёжно устаревших шляпок со стеклярусом – ими отгораживались от пугающего мира аполитичные Крыся и Ядвига, спешившие с Эвой в брезгливом неприятии «власти черни». Адама ужасали вопросы Сони, явно порождённые «гнилой средой»:

– Почему я должна любить дедушку Ленина и Сталина? Ведь я их не знаю! Я могу любить только кого знаю, – тебя с мамой, Надьку, тётю Кысю с тётей Ядей. А дедушка Ленин вообще неживой. А когда был живой, у мамино папы деньги украл. Дом отнял. У тётки Кыси с тёткой Ядей родных убил.

Адам терялся:

– Ты никогда никому не должна такое говорить, Соня. Ты просто мала, многого не понимаешь...

А по вечерам, когда думал, что Соня спит, выговаривал женщинам:

– Такими разговорами и себе и ей жизнь испортите! У неё же уши на макушке! Всё на ус наматывает! Ещё сболтнёт ненароком где...

Но Соня каким-то седьмым чувством понимала, когда и перед кем помалкивать. Например, даже папе не говорила, что мама прячет в её кровати под матрасом удивительную книгу с волшебными стихами: «Ты слышишь? Далёко-далёко у озера Чад изысканный бродит жираф»...<sup>9</sup> Мама знала за Соней недетское умение хранить тайны – и Соня была благодарна за доверие, когда мама сказала, что книга эта запрещённая, что это их с Соней тайна. Соня скорее дала бы разорвать себя на куски, чем кому-то бы проболталась. Да и с жирафом под матрасиком было уютно – его следовало беречь. Но её очень интересовали странные отношения взрослых, и часто она, притворяясь, что спит, с замиранием прислушивалась к их разговорам. Тайны манили Соню.

– Вы хотите только получать, – говорил Адам. – Если что-то отнимают, из себя выходите. Но ведь не по злобе отнимают, ситуация в стране того требует. Нельзя думать о шкурных интересах! Интересы страны – выше. В её интересах заключены и ваши, только это не так очевидно, – а вы понять этого не хотите. Личные обиды свет застят...

– Как вы можете так говорить, Адам? – возмущались хозяйки-польки. – Сами ведь безвинно пострадали. И семья ваша. Вы-то никогда ни у кого ничего не отнимете, скорей своё отдадите. Что ж неправду оправдываете?

---

<sup>9</sup> Стихи Н. Гумилёва, расстрелянного как «враг народа».

– Лес рубят – щепки летят. Я не в обиде. Я понимаю. Я щепка. Мне просто не повезло. Но на месте вырубленных лесов прекрасные города вырастают – в прямом и в переносном смысле. А несвобода – вообще организующее начало: удерживает мир от хаоса. Культура, этика – тоже несвобода. Просто на наших глазах новая культура, новая мораль, новая правда создаются...

– Блаженны алчущие правды, ибо они насытятся, – мрачно и обречённо бормотала Крыся. – Ох, Адам, накушаетесь вы этой правдой. Придёт она за вами!

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В это ясное сентябрьское воскресенье Соне с утра не везло. Мама с папой уехали за покупками в Дрогобыч одни, хотя Соня умоляла взять её. Приглядеть за ней попросили надькину бабушку. Та варила варенье. Дала девочкам по блюдцу вкусной воздушной пенки с варенья и отпустила на поляну за огородом, велев не уходить далеко. Сначала Надька важничала перед Соней, рассказывая про школу. Соне было обидно – одним бы глазком увидеть как там, в школе! Даже забывала лизать пенку, слушая надькины рассказы и стараясь представить себя на её месте. Прибежали мальчишки. Колька сунул длинный противный язык в сонину пенку – и слизал. Потом все стали играть в лапту, а её не приняли – она не умела перехватывать летящий над головами мяч. Слишком мала ростом, хоть ей уже четыре с половиной года!

Соня забилась под лопухи, сглатывая слёзы, – она никогда не плакала при других. С поляны доносились весёлые возгласы ребят, стук мяча – он мелькал красно-синими боками в небе над лопухами и будто дразнил Соню. День явно не удался.

– Соня! – вдруг услышала она незнакомый голос. – Давай поиграем!

Соня подняла глаза и увидела огромные смешные ботинки, болтающиеся на худых длинных ногах холщовые брюки, белую рубаху навывпуск и, наконец, всего долговязого и какого-то очень нескладного, даже нелепого, взрослого мальчика с весёлым лицом.

– Ты вправду хочешь играть со мной? – удивилась Соня. – Ты мальчик или дяденька? Как тебя зовут?

– Я твой Ангел-Хранитель. Я забочусь о тебе, как твоя мама. Только я невидимый для других. Я только твой.

– Ты волшебный и только мой? – не верила своему счастью Соня, тут же забыв мамин запрет беседовать с незнакомцами, но от этого мальчика-дяденьки исходило такое дружелюбие, что бояться его было явно незачем.

– А как тебя зовут?

– Мама-Ангел. Мангел.

– Мангел? А уменьшительно Маня? – засмеялась Соня.

– Пусть будет Маня. Давай играть!

– А во что мы будем играть?

– В Чудесную Дверь...

В его руках вдруг оказался большой светящийся дверной проём – с порогом, но без самой двери. Он поставил этот светящийся прямоугольник на землю, переступил порог и протянул руку Соне:

– Шагай!

– А что там будет?

– Увидишь!

Соня переступила порог.

...За Дверью не оказалось ничего нового – так же заливало поляну солнце, так же покрывала её потемневшая осенняя трава с ржавыми подпалинами, так же сладко пахло прелыми листьями.

– Ну и что? – разочарованно протянула Соня.

– Смотри лучше. Ты просто неправильно смотришь, – сказал Ангел Маня. – Это очень важно: уметь правильно смотреть и слушать. Волшебная Дверь – штука хитрая. Без твоей помощи ничего не покажет.

– А как это – правильно смотреть?

– Прежде всего меньше болтать не только вслух, но и внутри себя, – рассердился Маня. – Затихни, как мышка. Ты должна как бы исчезнуть. Разве можно налить лимонад в стакан, наполненный чаем? Выплесни чай, если хочешь полакомиться лимонадом! Освободи в себе место, забудь обо всём. Просто смотри и слушай. И не торопись.

И постепенно, как в игре «найди десять отличий», они начали являть себя Соне.

Как она не заметила сразу, что небо тут выше и не такое линиярое – оно будто светилось и продолжалось далеко-далеко. Тут вообще всё куда-то продолжалось, переходило одно в другое и не имело чётких границ.

Камни просвечивали насквозь. За ними вспыхивали мерцающими огнями сказочные города со сверкающими куполами. За городами блестили моря, за которыми угадывались миражные фиолетовые горы и что-то ещё, что разглядеть было уже невозможно. Пыльная вытопанная среди пожухшей травы тропинка бежала через камни к этим дальним городам – вперёд и вверх. И еле виднелась на ней маленькая фигурка девочки, похожей на Соню.

– Это я? – удивлённо спросила Соня, ткнув пальцем в удаляющуюся фигурку.

Маня промолчал. Лишь улыбнулся и приложил палец к губам.

От солнца откололся кусок и упал рядом с Соней – это луч тронул стёклышко в колее. Засохшие куски серой грязи весело заискрились графитовым блеском. И вдруг ожили, зашевелились – раздалось тарахтенье невидимой телеги.

Крики играющих в мяч ребят стали далёкими и доносились, будто сквозь вату, как было, когда у Сони болели уши и она ходила с компрессами. Зато стали явственней другие звуки, которых здесь не должно было быть.

Соня слышала прерывистые металлические звонки трамвая – залиvisto звеня, он прогромыхал по рельсам где-то рядом. Разнеслись над поляной волнующие паровозные гудки, хотя вокзал был далеко.

Невидимые поезда, казалось, останавливались за соседним кустом – ритмичный стук колёс сначала замедлялся, словно поезд подходил к платформе, а через пару минут начинал снова разгоняться, и затухающее эхо долго пульсировало в прозрачном воздухе.

И воздух тут какой-то диковинный – живой: пахнет разрезанным огурцом и двигается, как всё здесь. Он мягко обнял, проник в Соню с дыханьем, щекотно побежал сквозь поры, широко расположился в ней и стал улыбаться всем и самому себе изнутри её живота. Соня почувствовала, что стала внутри просторной, лёгкой – и готова взлететь, как воздушный шарик.

Вдруг будто кто-то большой и невидимый приподнял её на ласковой ладошке – невысоко над землёй, чтобы не было страшно, – и так же бережно опустил на место.

– Я летаю, – только и успела удивлённо прошептать Соня.

– Ничего странного, – сказал Маня. – Так всегда бывает, когда *переступаешь порог, правильно смотришь и улыбаешься изнутри.*

– Но так хорошо только здесь? А там...

Обернувшись, Соня показала рукой за Дверь и скривила гримаску, которая должна была означать обыденность оставленного перед волшебным порогом пространства, где играли ребята, виднелись огороды, сады и черепичные крыши бориславских домиков.

– Да нет же, – ответил Маня. – Неужели ты не поняла? *Хорошо везде и всегда, как только поставишь Дверь перед собой и шагнёшь за порог.* Повернись, выйди отсюда назад к ребятам и, подходя к ним, поставь такую же Дверь, подними ножку и переступи порог.

– Разве я могу это сделать сама?

– Конечно!

– А как?

– Ты уже видела Дверь, побыла за нею. Теперь тебе достаточно просто *представить* её. Помни: именно *впереди, перед собой*, как бы ты ни стояла. Главное, не забыть чуть-чуть при-

поднять ногу, переступая невидимый порог. *Перешагнуть порог – это самое главное...* А потом затихнуть и правильно смотреть. И волшебная страна откроется тебе в любом месте...

– И я смогу снова полетать? И даже оказаться далеко-далеко, заморями-загорами?

– Это не всегда получается, но довольно часто выходит. Ты сможешь, если не забудешь про улыбку внутри, не станешь ни на что злиться и не будешь торопить события.

– Значит, ты меня сделал волшебницей?

Маня не ответил. Он вдруг куда-то исчез. Исчез и светящийся прямоугольник дверного проёма.

– Маня! – позвала Соня.

Маня не откликнулся.

Не показалось ли ей всё это?

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Соня в растерянности огляделась.

Может быть, разговаривая, она не заметила, как Маня вышел из этой диковинной страны за порог, забрал волшебную Дверь с собой и ушёл куда-то по своим делам? Ведь и мама с папой тоже часто бросают Соню из-за дел, которые почему-то им кажутся более важными. Размышляя об этом, Соня пошла к ребятам. Подходя к ним, «поставила» перед собой воображаемый дверной проём, как учил Маня, подняла ногу и перешагнула невидимый порог.

Ничего не случилось, как ни старалась Соня увидеть мерцающие вдали города, ведущую к ним тропинку и услышать таинственные звуки. И улыбка в животе не возникала – вместо неё всё внутри было занято старанием правильно смотреть и досадой, что ничего не выходит.

– *Освободи в себе место!* Разве можно налить лимонад в стакан, наполненный чаем? – вдруг возникли в ней слова Мани.

– Наверное, я *слишком* стараюсь, – догадалась Соня. – И немножечко злюсь.

Но как этого не делать, не знала.

– Ничего, в следующий раз спрошу у Мани, – успокоила себя.

Села на пенёк и стала смотреть, как играют ребята, думая о случившемся:

– *Освободить в себе место...* А как это – в себе? Что такое – я? Моя нога – это я? Еда, когда попадает мне в живот, – это я? Значит, я – помидор, яблоко, котлета? – Соня даже хихикнула от этого смешного предположения, но получалось именно так. – А когда я о ком-то думаю – и они попадают мне в голову? Что, и противный Колька – тоже я?

Это всё было не менее странно и загадочно, чем страна за волшебной Дверью. Соня стала заинтересованно разглядывать Кольку, представляя, что он – её часть.

И вдруг увидела, какие у него красивые и сильные загорелые ноги. Какие на них замечательно плотные и блестящие засохшие болячки – так и хочется потрогать. Как ловко он отбивает мячи! Соне так никогда не суметь. Конечно, правильно, что её не взяли в игру. Колька, наверное, не противный, а справедливый...

Другие ребята, казалось, суетились не столько вокруг мяча, сколько вокруг Кольки, смешно прыгали, делали много лишних движений, чтоб и у них кое-что получалось. А он стоял спокойный, как принц на охоте, с гордо поднятой головой и цепким взглядом, почти не двигаясь, красиво встряхивая русым чубом лишь перед той секундой, когда надо было отбить летевший мяч, – и делал лёгкий стремительный бросок.

– Ух ты, как здорово Колька играет! – воскликнула Соня.

– Я ещё и не так могу! – сказал Колька и завинтил лихой кручёный.

– Ты как принц на охоте! – проникновенно сказала Соня. – Ты такой ловкий! Я так никогда не смогу...

Не зависть, а искреннее восхищение и восторг заполнили Соню.

И она с удивлением почувствовала, что исчезли границы её тела – она продолжилась Колькой, летящим мячом, небом, в которое мяч взмывал.

И даже не заметила, как улыбка устроилась в животе, ибо не было у неё в тот момент живота, а вся она и всё вокруг было одной сплошной улыбкой.

– Хочешь, я тебя поучу? – вдруг сказал Колька.

Неужели Дверь сработала? Но размышлять об этом некогда – ребята, которым самим, видно, надоело играть в лапту, переключились на игру в спортшколу: учили Соню угадывать, куда летит мяч, складывать руки, загибая его за мгновение до того, как он толкнётся в грудь, – и крепко обняв, удерживать. А Колька был главный тренер, и мантия принца развевалась за его спиной...

Солнце перевалилось за зенит, когда Соня чему-то научилась, и надькина бабушка позвала их обедать. А потом приехали мама с папой. Соня углядела среди покупок сласти, тайком вытащила из кулька пригоршню конфет и спрятала, чтобы потом угостить принца Кольку.

Мама решила, что её обвесили, и долго сокрушалась по этому поводу. Но Соня не могла признаться в краже, потому что тогда пришлось бы рассказать маме всё, а это – секрет. И как ни в чём не бывало продолжала рассматривать подаренный тётей Кысей букварь.

В эту ночь Соне приснился странный сон. А потом случилось ужасное.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Соня спускается вниз по ступенькам в глубокий подвал. Впереди – старая деревянная дверь с медной ручкой. Кажется, не волшебная, но кто знает? Предчувствие тайны волнуется, взбулькивает в Соне. Сердце колотится. Она тянет ручку на себя. Дверь со скрипом открывается – и Соня, оставив за спиной солнечный день, шагает в тёмный зев, пахнувший сыростью, пылью и чем-то сладковато-затхлым. Дверь захлопывается. Кромешная тьма и жуткая тишина накрывают Соню. Она будто тонет в них, задыхается. Охватывает ужас. Она поворачивается и пытается нащупать руками место, где только что была дверь.

Скорей обратно! Наружу! Туда, где высокое синее небо, зелёные кроны деревьев, шум, люди!

Но на месте двери, через которую только что вошла Соня, – сплошная каменная стена.

Постепенно глаза привыкают к темноте. Или это слабый свет сочится извне сквозь раскрошившуюся кладку? Соня видит пустую комнату с низким каменным потолком и покатым земляным полом. Дверь сзади действительно исчезла. Но есть дверь впереди. Соня идёт к ней, тянет на себя ручку. Вторая тяжёлая дверь открывается с таким же тягучим скрипом, выпускает в такую же пустую каменную комнату и, хлопнувшись за спиной, тоже исчезает. И опять – только наклонный спуск среди тишины и мрака к очередной двери.

Соня обречённо понимает: пути назад нет. Но тут же принимает это как данность, не паникует, собирается внутренне, упрямо продвигается в полутьме вперёд и распахивает следующую дверь, уже зная, что та исчезнет, – и надо будет открывать следующую и следующую, пока... пока что-нибудь не случится... или куда-то не приведёт этот странный путь.

Пятая дверь, десятая... В некоторых комнатах пол не спускается, а поднимается – дверь оказывается почти у потолка. Так – вперёд и вниз, вперёд и вверх, вперёд и снова вниз, и снова вверх Соня идёт и идёт. Нетерпение подгоняет её: вот-вот она что-то найдёт! Что?

Исчезает очередная дверь за спиной. Но впереди тоже глухая стена! А по всему полу расставлены открытые сундуки – в слабом рассеянном свете мерцают в них изумрудные, рубиновые, малиновые, красные, жёлтые и прозрачные драгоценные камни.

– Клад! – вскрикивает Соня. – Не зря...

Она хотела воскликнуть, что не зря так отважно шла вперёд и теперь может раздать драгоценности всем, кого любит, и даже тем, кого не любит, но кто в благодарность за такой щедрый подарок обязательно сам станет добрым, и все сделаются счастливы, будут жить-поживать да мёд попивать. Однако осекается. Все, кого она любит и даже кого не любит, остались за семьдесятю семью дверями. А зачем ей одной клад? Что делать с ним в каменной ловушке, из которой нет выхода?!

В ужасе Соня просыпается.

Горит свет, но за окном темно – значит, ещё ночь. Шкафы почему-то все открыты. Выдвинуты ящики комода. Везде непривычный кавардак. В комнату хозяек дверь распахнута, и сами они, растрёпанные, в шалях поверх длинных ночных рубашек, жмутся испуганно к стене.

Соне становится не по себе: из страшного сна она попала в кошмар наяву. Или это тоже снится?

Папа и мама с незнакомыми застывшими лицами стоят у стола, за которым развалилась сидит чужой неприятный мужчина в сером плаще и постукивает пальцами по столешнице. Двое солдат вытаскивают и складывают перед Серым книги и вороха бумаг – письма, конверты, папины лекции. Они не помещаются на столе, падают на пол. Серый заставляет маму с папой подбирать их.

– Пишите на каждой книжке и бумажке «обнаружено у меня», подпись и число, – приказывает металлическим голосом Серый.

Папа поспешно достаёт чернильницу и две ручки.

У Сони начинает противно сосать в животе. Ей почему-то невероятно стыдно, что мама с папой такие послушные и разрешают Серому хозяйничать и *так* разговаривать с ними. Стыдно до резей в желудке, до мятной пустоты в полом теле.

Мама с папой не должны знать, что она их видит *такими*, вдруг понимает Соня.

К счастью, никто не заметил, как она проснулась. Соня, будто во сне, вскидывается, накрывается одеялом с головой, оставив себе смотровую щель, и сквозь неё продолжает подглядывать.

Красивые длинные пальцы папы с ребристыми ногтями и кустиками чёрных волос подрагивают, когда он пишет, что велит Серый. А у мамы вовсю дрожат руки и губы – вот-вот заплачется! – но она тоже пишет. Ручка прыгает. Чернила разбрызгиваются по белой скатерти.

– Не могу писать, – взрывается она. – Зачем это? У нас нет ничего запрещённого! Мы честно трудимся на благо общества. Правда! Если кто про нас что нехорошее сказал, так это от зависти, что мы с нуля поднялись, живём достойно. Но вы ведь всё равно заберёте Адама?

– Пиши, пиши, догадливая! – почти добродушно хмыкает Серый и продолжает стучать по столу пальцами. – Непременно заберём. Лет на пять-семь. Но по правилам. На всё свой порядок. А насчёт запрещённого – может, в самом деле нет. Может, вы хорошо затаились?

У Сони ещё больше холодеет внутри: ведь под матрасом в её кровати мама прячет запрещённую книжку со стихами про жирафа, который бродит у озера Чад!

Серый продолжает размеренно говорить, мельком проглядывая подписанные мамой и папой бумаги:

– Вот муж твой однажды посидел? Посидел. Снисхождение ему дали? Дали. Выпустили. Поверили. Пожил на воле – мало ли что вредного удумал. Теперь снова посидеть надо – для профилактики. В интересах нашей советской страны. А ты: «правда, неправда»... У страны своя правда! Она главней твоей!

«Где это надо посидеть папе?» – удивляется Соня. Вспоминает: что-то похожее папа говорил про какую-то новую правду и про интересы страны, которые *главнее*. Только она не очень поняла – какие такие особенные у страны интересы, если не как у Сони, мамы, папы и других отдельных людей, которые в ней живут? И разве бывает правда новой и старой? В понимании Сони, правда всегда бывает только правдой, а неправда – неправдой. Но правда не может быть такой, как Серый!

«Блаженны алчущие правды, ибо они насытятся. Ох, Адам, накушаетесь вы этой правдой. Придёт она за вами!» – вспомнила Соня непонятное злое пророчество тёти Кыси.

Соня с ужасом догадывается: это папина правда пришла за ним! Пришла, чтоб он увидел её гадкое лицо и понял, что ошибался. Но поздно, поздно! Эта неправильная правда сейчас заберёт папу. Надо что-то делать!

– Маня! – шёпотом позвала Соня Ангела Маню. – Маня!

Пусть думают: это она во сне шепчет. Но Маня не появлялся. Ну ничего, сама справится.

Соня отодвинулась к стенке, на освободившемся месте кровати «поставила» светящийся дверной проём, перевалилась за воображаемый порог на край кровати и, наблюдая из-под одеяла за происходящим, стала ждать. Может, Дверь сработает, как тогда, с Колькой?

Но мешали сосредоточиться и *правильно смотреть* стыд за то, что она видит маму с папой такими испуганными, и за собственный противный мятный страх перед враждебной силой, ворвавшейся ночью в их уютный дом.

Волшебная Дверь не действовала.

«Цыплёнок жареный, цыплёнок вареный, цыплёнок тоже хочет жить! Его поймали, арестовали, велели паспорт предъявить», – вспомнилась Соне весёлая, но на самом деле очень

жалостная песенка, которую часто напевала мама. Мама и папа были похожи сейчас на того бедного цыплёнка, который был «лишь куриный генерал и только зёрнышки клевал». Не отнимайте у мамы с папой их зёрнышек!

А голос мамы тем временем запел внутри Сони другую песню, героическую:

... Вот прапорщик юный со взводом пехоты  
старается знамя полка отстоять —  
остался один он от всей полуроты,  
но не-ет, он не может наза-ад отступить!  
Но не-ет, он не будет наза-ад отступить!  
Вот кончился бой. И земля покраснела.  
Врагов отогнали к далёкой реке.  
И только наутро нашли его тело.  
И зна-а-мя сжимал он в засты-ывшей руке.  
И зна-а-мя сжимал он в засты-ывшей руке...

Соня всегда с замиранием ждала момента, когда мама грудным глубоким голосом будто взрыдает на долгом выдохе «не-ет» и сделает, вдыхая воздух, паузу перед тем, как медленно, будто ещё размышляя, протянуть: «он не может наза-ад отступить». В этой паузе Соня становится прапорщиком юным. Ей очень страшно, и она мгновение – только мгновение! очень долгое мгновение! – думает о бегстве с поля боя, представляя, как сейчас, прячась между мёртвых тел, быстро уползёт к спасительному лесу с открытого пространства, где взрываются снаряды и клубится дым. Ведь бой уже почти проигран! Бессмысленно сопротивляться. И зачем отстаивать неживое знамя, когда главнее остаться живым, спастись?! Чтобы потом, собрав новую армию, победить врага, – ведь это разумней, чем отстаивать деревяшку с тряпкой!

Но она *не может* бросить знамя! Хочет, но почему-то не может. Не может – и всё тут!

Что-то чёрненькое маленькое и трусливое в ней хочет бросить знамя, убежать.

А не может этого сделать что-то светлое и большое, которое тоже в Соне, но при этом, как ни странно, куда больше, чем она сама, – будто не только Оно её часть, но она часть Его.

И она понимает: бросить знамя – это предательство вовсе не деревяшки с тряпкой и даже не тех, кто понадеялся на неё, а предательство этого Большого Светлого. Непоправимая измена, которая так изменит Соню, что её никто никогда не узнает, и даже сама себя она не узнает, когда поглядит в зеркало. Потому что если уползёт с поля боя, то всё равно не спасётся, а навсегда превратится в Скрюченного Чёрненького, который угнездился в ней и нашёптывает: «Брось! Беги!», а это было бы ужасно.

Мама делает следующий вдох-выдох – от вялого вынужденного «*не может*» до гордого твёрдого: «нет, он *не будет* наза-ад отступить».

Всего лишь ещё один вдох и выдох. Но между ними рождается новая бесстрашная Соня, в которой парит лёгкое сердце.

И пусть наутро найдут её холодное тело, но в застывшей руке она будет сжимать знамя, которое она не выпустила до конца. И на губах её будет играть радостная улыбка...

А мама с папой подписывают и подписывают для Серого бумаги и книги. Вот уже последние стопки вытаскивают из шкафа солдаты.

Сейчас они подойдут к сониной кровати, засунут руку под матрас, где прячется жираф, шкуру которого украшает волшебный узор!

Соня превращается в юного прапорщика, который – вдох! – не может, выдох – не допустит этого!

Сейчас она поговорит с ними, как «говорила» с бандеровцами в ночных играх. Скидывает одеяло, будто внезапно проснулась. Садится в кровати. Трёт кулачками глаза и невинным взглядом окидывает комнату.

– Дядя, ты тоже хороший? – заспанным голосом спрашивает Серого, скорчив трогательную гримаску и застенчиво улыбаясь своей самой дружелюбной улыбкой.

– Тоже? – выдаёт себя Серый изумлённым вопросом, зная, видно, что его можно заподозрить в чём угодно, но только не в том, что он хороший. – Хороший как кто?

– Как мама с папой. Они тоже, как и ты, читать любят. И как тот солдатик, – Соня пальчиком тычет в одного из солдат с более симпатичным лицом. – Смотри, как он бережно держит книжки. Мама с папой говорят: кто любит книги, тот хороший! Мама с папой дарят тебе свои, потому что ты хороший? Папа добрый. Мама всегда говорит: ему ничего для людей не жалко...

Второй солдат начинает, как и первый, аккуратно опорожнять полку, а Серый несердито прикрикивает на Сою:

– Ишь, шустрая! Разговорила посередь ночи...

– Соня, разве можно незнакомым взрослым людям говорить «ты»?! – обретает голос мама.

Именно такой реакции и ждала Соня, чтобы произнести коронную фразу, которая должна окончательно убедить Серого в том, что он хороший:

– Ой, простите, – будто спохватывается она, обращаясь к Серому. – У вас такое доброе лицо, что вы прямо как друг, а друзьям говорят «ты». Вы будете дружить со мной?

– Буду, буду, – бурчит, отводя глаза, Серый. – Вот только с батьком твоим ещё трошки подружусь. Мы выйдем с ним, погуляем годик-другой...

И уже на «вы» обращается к Адаму:

– Собирайте вещички, Адам Суменович. Сами знаете, *что* брать.

Мама долго не может найти тёплые носки среди раскиданных вещей, и сама, как потерянная.

– Кончай работу! – устало обращается Серый к солдатам и поднимается. – Нэмае тут ничего. Ничого нэ заховано...

«А вдруг они напоследок мой матрасик поднимут?» – волнуется Соня. Надо чем-то закрепить эту маленькую победу. И придумывает.

– Мама, я опИсалась! – вдруг вскрикивает она и в самом деле делает это. Вряд ли чужие люди станут касаться испоганенного матраса. А книжку, если промокнет, можно будет высушить и проветрить...

– Ну что же ты, Соня, – раздражённо говорит мама. – Как маленькая! Подожди, сейчас папу провожу и тобой займусь...

Соня не в силах больше сохранять спокойствие и, уткнувшись в подушку, горько плачет, подывая и вздрагивая всем телом. Пусть думают: она плачет от стыда, что опИсалась, и от того, что её обозвали маленькой. Жирафа и маму она спасла. Отогнала врага к далёкой реке. Но папу всё равно уведут. Папу спасти не удалось...

– Эх, малая! – Серый подходит к бьющейся в рыданиях Соне и треплет её по голове. – Бывает, бывает... Жизнь...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Подслеповатые звёзды висели на тусклом осеннем небе. Прерывисто сопела уснувшая Соня.

– Я вернусь, Эва, и мы начнём всё сначала. Мы обязательно начнём всё сначала... всё сначала... сначала...

Последние слова Адама крутились в гулкой пустоте головы Эвы, – такая пустота образуется в комнате, откуда вынесли вещи, и только тупая иголка старого патефона, оставленного за ненадобностью и включённого напоследок, никак не может сойти с наезженной дорожки заигранной пластинки, и слова, ещё несколько минут тому назад наполненные живым смыслом, тёплым дыханием и несомые вдаль щемящей мелодией, сулящей надежду и счастливую жизнь когда-нибудь потом, потом, но которая обязательно настанет, не может не настать, повторяются и повторяются... ..теряя с каждым повторением часть смысла, превращаясь в набор мёртвых шуршащих звуков.

Сначала? Разве это возможно, когда не осталось ни сил, ни надежд?

Опять безрадостные серые утра будут сменяться тоскливыми сумерками и одинокими ночами. А она, Эва, станет стареть среди дел и забот, сплетая из них рубашку для Одиссея, который Бог весть когда вернётся, – и злая судьба будет снова и снова распускать к вечеру сплетённое за день.

Её обманули! Неужели жизнь дана для того, чтобы без усталости плести эту чёртову рубашку, зная, что каждое утро надо начинать работу снова, и гнать прочь женихов, пока сами не исчезнут вовсе, и обречённо ждать, когда тело разбухнет от жёлтого жира и воды, и она перестанет узнавать себя в зеркале?! Где Ты, который обещал «И аз воздам»?! Воздай же, наконец!

Опять мотаться по серым тюремным очередям и кабинетам равнодушных начальников. И шить ночами для соседок и сотрудниц опостылевшие платья с рюшками, чтобы скопить лишнюю копейку на передачи для Адама, витамины для Сони, скромные посылки для Иринки в Москву.

И бояться. Бояться. Что сгинет Адам. Что посадят и её. Что отнимут и отдадут в детдом Соню. Что выгонят из столичного института Иринку, которая скрыла, не написала в анкете, что отец – враг народа.

Натерпелась я много страха  
на своём коротком пути.  
Стала я совсем черепаха —  
панцирь сверху и ужас в груди,

– складывались строчки.

Спазмы душили Эву. Звериный рык рвался из неё. Она вышла в обшарпанную ванную с облупившейся краской и ржавыми подтёками на трубах, закрыла дверь, чтоб никого не разбудить, опустилась на щербатый бетонный пол и завывала по-волчьи, засунув в рот кулак, как заглушку.

«Господи, если Ты есть... Дай мне мужества! Дай мужества! Почему Ты опять позволил отнять у меня моё?! Тогда уж заberi и последнее, заberi женское – жажду любви, желание прильнуть к сильной груди и затихнуть, ни о чём не думая, ни о чём не заботясь. Господи, покарай врагов моих и сделай сердце каменным»...

Наверное, её опять уволят с работы. Но может быть, это к лучшему, потому что на попутных машинах, на поездах «за ради Бога» надо опять следовать за Адамом от тюрьмы к тюрьме, от города к городу – до места ссылки, чтобы чувствовал поддержку, выжил и когда-нибудь вернулся к ней. Когда-нибудь... когда-нибудь.

Извечный женский инстинкт – сберечь, сохранить своё, собрать остатки разрушенного дома – владел Эвой, готова душу к новым подвигам.

Эва снова взвыла от обречённости долженствования. Она устала сопротивляться. Не могла, не хотела двигаться. Но путь уже лёг у её дверей.

«И опять будут дальняя дорога и казённый дом... И ещё дальняя дорога и другой казённый дом. И ещё. Святой Боже, кинь мне под ноги дорогу в родной дом! Короткую дорогу. Впрочем, в этом случае можно и дальнюю – лишь бы домой! Как пробежала бы я её, пролетела, проползла. Сердце билось бы в нетерпении и гнало меня, не давая остановиться. Ноги не чувствовали бы камней и усталости. Где он, мой дом? Настоящий дом, где покой безопасности, где стены защищают, где шторы на окнах загораживают от недобрых взглядов. Обняться бы всем вместе на уютном диване под жёлтым абажуром и не размыкать объятий, а крепкие запоры не впустят чужого, не выпустят за дверь своего. Нет, в моём доме вообще не должно быть двери! И окон не будет. Но разве бывает такой дом? Нет, не бывает. А значит, ветер извне всё равно будет задувать в щели рам, выстуживать комнаты. И на кнопку звонка за дверью всегда могут нажать злые холодные пальцы. Ну почему, Господи, Ты так жесток и отнимаешь всё хорошее?! Тогда не показывал бы этого вовсе, не обольщал бы надеждой...»

Любовь, которой с детства не хватало Эве, всегда уходила, едва поманив, едва улыбнувшись обманной улыбкой. Всю жизнь Эва старалась привлечь любовь – отца с матерью, сестёр-братьев, потом – друзей и сослуживцев, потом – Адама и своих детей. Она так много делала для этого – заметьте, оцените! «Я люблю любовь!» – завороченная вычитанным в какой-то дешёвой книжке словосочетанием, она часто произносила его, шаманством повторения пытается приманить любовь, запереть в клетке и владеть безраздельно.

«У любви, как у пташки, – крылья!» – эти слова, порхающие вместе с легкомысленной мелодией, казались издевательством. Она с упрямством цельной и сильной натуры никогда не брала их в расчёт. Это у других любовь – пташка с крыльями. А от неё не упорхнёт, лишь бы влетела в клетку, – Эва жизни не станет щадить, чтоб своевольной птахе было хорошо.

Эва не отдавала себе отчёт в том, что инстинкт собственности перекрывал в ней инстинкт любви. Что не всегда катаклизмы двигающейся вокруг истории были виновны в её одиночестве. Что если б Адама не посадили, то он, возможно, сам ускользнул бы из золочёной клетки её любви, где ему становилось тесно. И может, потому – а вовсе не из-за многолетних тягот тюрем и ссылок – он не смог быть мужчиной в эвиных крепких объятиях, настигших его через годы и километры. Птичка перестала петь.

И судьба в лице НКВДэшников, опять уведя его от Эвы, быть может, просто превратно истолковала его тайные помыслы...

Эву всегда интересовали не столько сами окружающие, сколько их отношение к ней и то, насколько прочно вписаны они в рисунок её бытия. Она без усталости ткала этот рисунок отношений, но его элементы жили непредсказуемой жизнью – сплетённый узор назавтра рассыпался, исчезал, как мираж Фата-Морганы.

Нет, не вчера начала ткать Эва одиссееву рубашку из забот и хлопот. И предназначалась рубашка не для Адама-Одиссея, не для тепла и уюта. Потому что не рубашка это была вовсе, а *сеть*, в которую Эва пыталась поймать любовь и сберечь для себя навечно.

С детских лет Эва со страстным неистовством совершала подвиги самопожертвования во имя огромной малости – чтобы нравиться, чтобы любили, чтоб удержать тех, кто нужен.

Но ни им, ни злему року не нужны были эти подвиги – броуновское движение людей и ситуаций шло по неведомым ей законам. Её галактика то и дело рассыпалась – Эве никак не удавалось стать солнцем, удерживающим своей массой своенравные планеты.

Может, в жажде безраздельного владения была ошибка Эвы? Или в стремлении к завершённости, свойственном цельным натурам? В упорном желании закрепить раз и навсегда крепкими узлами понравившийся узор?

Может, следовало бы принять переменчивость мира, включить в узор случайности, прихоти людей, их настроения, страсти, влияние луны и звёзд, дуновения далёких ветров, смешивающих карты судеб?

И даже, может быть, вовсе перестать быть ткачихой, а попытаться угадать замысел Великого Ткача, смириться с Его волей, перестать бороться с губительными ветрами, с многообразием запутанных дорог – и, приняв правила Игры, самой стать узелком в изменчивом узоре, камешком в недолговечном рисунке калейдоскопа жизни, пылинкой, из мириадов которых складывается Великий Путь, спроектированный не нами, но из нас слагаемый...

Всадник ли направляет коня? Или конь несёт всадника, произвольно выбирая дорогу? Или это прихотливо вьющаяся дорога несёт обоих к тайной цели, обозначая её лишь загадочными указателями вдоль обочины?

Мало кто из смертных умеет читать их и понимать препятствия на пути не как наказание, а как наказ – урок.

Не умела этого и Эва. Ей не хватало для этого дерзновенности самозабвения.

Ей не было дела до чужой непонятной Игры, её жестоких правил. Она хотела играть по своим правилам: восстанавливая нарушаемый то и дело порядок, пыталась остановить мгновение. Может, потому рубашка и расплеталась сама к утру следующего дня, который всегда немного другой, чем вчера?

Может, поэтому не было никогда полного удовлетворения, а было лишь ощущение тяжёлой работы жизни, копилась разочарования и неудовлетворённость.

«Всегда одна... Всегда мне что-то не давали или, дав ненадолго попользоваться, отнимали», – обиды унесли Эву в детство.

Старшие сёстры и братья не пускали её в свою жизнь – «ты ещё мала!» – и повзрослев, ушли из семьи, разбежались по своим дорогам, оставив Эву наедине с пылающими страстями.

Мать, молчаливая неулыбчивая аристократка с величественным именем «Маргарита Николаевна», с тихим властным голосом, хорошим французским, прямой спиной, высокой шеей над наглухо застёгнутым воротничком, – «из князей», как гордо говорил отец, – воспитывала восьмерых детей в суровой строгости, живя в каком-то своём мире, куда не было доступа никому. И умерла, так и не приласкав ни разу Эву, которой не сравнялось в ту пору и семи лет.

Отец, весёлый, деятельный, жадный до жизни мануфактурщик, купец первой гильдии, владелец сети галантерейных магазинов, несший бремя женитьбы на аристократке «для улучшения рода», убежал от этого бремени то к актрисам, то к роскошным загадочным женщинам под вуалями, то к шалым цыганкам – и слухи о его похождениях делали жену ещё более замкнутой, молчаливой, заставляя защищаться от «неправильной» жизни мужа незыблемыми правилами, неукоснительного следования которым она с ещё большей силой требовала от домашних.

Плутоватые глаза отца всегда искрились смехом и любопытством. Но Эве казалось: это любопытство было обращено к кому и чему угодно, только не к ней, влюблённой в его весёлость

и живость, такие манящие в их чопорном доме. Он чётко и умно работал, без напряжения приумножая капитал. Любил меценатствовать: помогал театрам, больницам, посылал учиться талантливых самоучек, платил им регулярно стипендии, следил за их развитием и гордился ими. У него, как и у матери, тоже была своя жизнь, где Эве не было места.

А когда Эве минуло девять, начались смутные предреволюционные времена – и всем стало совсем не до неё.

Отец увлёкся политикой с той же страстью, с какой делал всё. В доме появились неопрятные бородатые люди. За нардами и шахматами велись жаркие беседы, в которых всё чаще мелькали слова о свободе, равенстве, братстве и о том, что «дальше так нельзя». Из подслушанных разговоров Эва поняла: отец давно уже финансировал какую-то тайную типографию с ласковым женским именем «Нина»<sup>10</sup> и потихоньку раздавал семейные деньги бородачам.

Эва чувствовала: бородачи не любили никого и её отца в том числе – он был для них лишь шахматной фигуркой, которой легко жертвуют, когда она не нужна для продолжения игры.

Так и случилось.

Эва хорошо помнила, как начался гибельный путь отца к проходной девятиметровой комнате в коммунальной квартире, где он прожил последнее десятилетие своей жизни парализованный, не вставая с кресла, у ножек которого на латаном матрасе все эти десять лет рядом с ним жил – ел,пил, спал – дворник отца «из прежних времён». Морщинистый, заросший седой щетиной Авак с обожанием смотрел на бывшего хозяина, который пригред его в голодные годы, дал какой-никакой кров, по-братски деля с ним пищу и стариковские разговоры.

С первых дней революции в одиннадцатилетней Эве клокотала обида. Вначале бородачи, которым на что-то не хватило денег, цинично ограбили отца, двери которого всегда были для них открыты. Отец тяжело переживал, но остался радушен к чужим, гостеприимен: «Люди всякие бывают. Это не повод менять принципы и привычки». Однако когда бородачи пришли к власти, то конфисковали оставшееся, отобрали дом, оставив отцу лишь проходную комнату, и объяснили, что только из-за прежних заслуг перед революцией не расстреляли, как собаку, не послали его буржуйскую семью на исправительные работы и даже «выделили жилплощадь».

Эва поражалась выдержке, стойкости и терпению отца. Не понимала, как можно не бороться или хотя бы не возмущаться. Но отец не обсуждал случившегося, не сожалел о потерянном – с прежним достоинством стал жить в новых предложенных условиях, генерируя ровную радость преодоления.

Казалось: враждебные обстоятельства не имели над ним власти, будто не потерял он всего, чем обладал. Будто за окном у парадного подъезда стоят лошади... и кучер поправляет поводья, начищает фетровым манжетом серебряные бляхи на сбруе... а где-то в получасе езды ждут томные женщины и лакеи с подносами.

Он наладил во дворе пошивочную мастерскую. Привлёк к работе соседей, кое-кого из прошлой жизни. Так появился дворник Авак, стал исполнять обязанности завхоза и был бесконечно влюблён в благодетеля Аветиса Гавриловича, который не бросил его, старого и одинокого, на произвол судьбы, а сделал братом и поселил рядом с собой.

В этой же комнате за ширмой ютились Эва с одной из старших сестёр Ниной, практичной кокетливой болтушкой, благодаря чему та легко выменивала на продукты барский хлам, ненужный в новой советской жизни, – серебряные ложки, портсигары, перстни, умудрившись сберечь остатки гарднеровского фарфора и поющие бокалы «баккара», часть из которых была позже подарена Эве на свадьбу.

Бывали дни, когда отец решал «тряхнуть стариной», без сожаления доставал красивые тарелки – продажа каждой из них могла бы месяц кормить семью! – и закатывал публичные

---

<sup>10</sup> Типография в Баку, печатавшая большевистскую газету «Искра».

пиршества, спуская в одночасье недельный запас еды. Во дворе накрывались столы, разжигались мангалы, на которых за неимением мяса жарились помидоры, баклажаны, картошка, хлеб.

– Чтобы душа воспаряла! – провозглашал тост отец и лукаво добавлял, со старомодной элегантностью обтирая белоснежной салфеткой капли красного вина с поседевших, но по-прежнему щёгольских усов:

– Душе легче воспарять, когда «бензин» в животе плещется.

Он пытался остановить мгновение, удержать новую реальность в привычных контурах прежней жизни, догадалась спустя тридцать лет Эва.

Но новая реальность, выползшая из чрева эпохи, была ненасытным чудовищем. Оно быстро росло, пожирая остатки материнской плоти. И так же, как разорвало выносившее его лоно, так шутя разорвало и радужную оболочку мыльного пузыря, старательно выдуваемого отцом из тонкой трубочки жизнелюбия.

Кончались запасы. Кончилось здоровье. Развалилась мастерская, державшаяся лишь его выдумкой и энергией. Нина, на практичности которой стоял дом, завела любовника и уехала. Эва вышла замуж. От других детей, разбросанных по стране, письма приходили редко – почта плохо работала. Из бывших стипендиатов отца одни остались за границей, где учились, другие исчезли в застенках НКВД, а кто просто позабыл, чья рука их кормила и вывела в люди.

И только старый кипарис за окном да старый Авак у ножек кресла остались ему верны.

И казалось: время обходит своим смрадным дыханием вечнозелёный остров любви, где жили эти двое, – там журчал тихий смех, шелестели им одним понятные слова, витали призраки прожитой жизни и нашёптывали что-то, примиряя с собою. И океан вечности бережно нёс их остров сквозь пространство и время, незаметно смыкая объятия, пока не принял этих двоих в себя.

Умерли они в один день. Даже, может быть, в один час. Пришедшая навестить отца Эва застыла в неуместном восхищении. Смерть помогла отцу остановить прекрасное мгновение: обдав холодным дыханием этих двоих на пике неведомых чувств, превратила их в скульптурную композицию – настоящее произведение искусства! Тёмная от времени и разгладившаяся от смерти холодная рука Авака, сидевшего в обычной позе у ножек кресла, покоилась в мраморной с голубыми прожилками руке благодетеля и брата Аветиса Гавриловича, лица обоих были просветлёнными, морщины исчезли, подбородки с юношеским любопытством чуть подались вперёд – и открытые глаза бесстрашно смотрели в зелёные луга вечности, куда и пошли гулять эти братья, взявшись за руки, чтоб уже никогда не разлучаться.

Так и запомнила Эва отца. И осталась загадка: как сумел он сохранить свою вселенную от распада, когда жизнь последовательно и, казалось, планомерно отнимала у него всё, а ничего не оставив, отняла напоследок даже возможность двигаться?!

Что же это такое было, чего у него не смогли отнять? В чём черпал отец безграничные стойкость и жизнелюбие? Как сохранил юношескую улыбку в стариковских глазах? Как не сломался от обидной тщеты усилий, смог обходиться без всего, к чему привык, и не слал обидчикам проклятий?

Может быть, так и не попробовав ни разу вкуса проклятий, он и без этого изначально знал, что они могут разрушить его самого? А может, так много когда-то имевший, он понимал, что не в низменном реальном обладании дело, а в том, чтоб радовалась душа? Но как удержаться от проклятий, даже если чувствуешь, что они бумерангом бьют по тебе? И как душе радоваться, если всё отнято, – и нечему радоваться, и нечем...

Эва не понимала этого. Её опять, как в детстве, обдал жар обиды за отца. И одновременно полыхнула злость, что так и ушёл, не открыв тайны, не научив дочь тому, что знал, бросив её одну.

«Всегда одна... всегда одна... Утоли, Господи, мои печали»...

Но глухи были небеса. Или, может быть, глуха была Эва, не умея расслышать за скрежетом зубным их тихого ответа.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

– Вставай, Соня, вставай скорее! А то поезд без нас уйдёт.

Соня, ещё не проснувшись окончательно, быстро сбросила одеяло и вскочила с кровати, ёжась от ночного холода. В самом деле, они же сегодня уезжают в дальние края! В настоящее путешествие!

Дальние края назывались Сибирь, посёлок Тасеево. Там теперь живёт папа. В тайге. Про тайгу Соня вычитала, продираясь сквозь «яти» и «еры», в тяжёлой книге с золотым обрезом и волнующим названием – «словарь далее»<sup>11</sup>.

Прочитанное заставило сердце замирать, подпрыгивать и снова замирать в предчувствии приключений: «тайга – это обширные сплошные леса, глушь, где нет никакого жилья, – необитаемая полоса, лежащая перед тундрами, идущими мхами до Ледовитого океана; на огромном просторе кой-где – зимовки лесоповальщиков; ехать тайгой – ехать дремучими лесами, болотами»... А в конце заметки – сверкающие слова: «в тайгах лежат золотые россыпи».

В другом старинном словаре тёти Кыси нашла Соня строчки и про папину Тасеево, названное по имени местной реки, – наверняка в память какой-то Таси! Соня сразу насочиняла историй. Показался девочке Тасе золотом блик солнца на дне, потянулась к нему, а русалки тут как тут – утащили! Вот и дали тасино имя реке, а потом – посёлку. Или гномы к россыпям заманили, – и околдованная золотом Тася забыла мать-отца и родной дом, а все решили, что утонула. А может, пошла она болотами и мхами до самого Ледовитого океана к белым медведям смотреть северное сияние?

Может, так оно было. Может, по-другому. Соня разберётся, когда приедет на место. Однако знаменитое, значит, место, раз о нём в такой важной книге написали! Ощущение пространства и загадочно шевелящейся жизни на нём впервые взволновало Соню: «Тасеева-река протекает по Канскому и Енисейскому уездам, образуется из рек Чуны и Бирюсы, впадает в Ангару; судоходства нет, но возможно. В долине, дающей хорошее сено, известной залежами железной руды и золотыми россыпями, – четыре русских селения»...

«Опять про золотые россыпи!» – ёкнуло сердце. С этого момента в Соне поселилось нетерпение.

...С тех пор, как Серый увёл папу, прошёл год. Мама уволилась с работы – директриса детсада благодарилась «за понимание», на прощание насовала маме в сумку пакеты с пшёнкой и заговорщицки сказала:

– Подходите по вечерам с кастрюльками. Будем вам сливать с котлов остатки супов и каш – всегда ведь что-то остаётся! И Соне хлеб и какую-никакую галету в карман засунем.

Соня стала уходить из детского сада с набитыми нехитрой снедью карманами и старалась честно отработать полученное – слушалась, даже когда не хотелось, помогала нянечкам, вызывалась рассказывать детям сказки, чтоб отпустить воспитательницу в магазин. Мама называла её «кормилица» – и Соня гордилась, что зарабатывает на хлеб. И на печенье.

Но вскоре отчислили из детсада и Соню – так велела злая тётка в мужском пиджаке, которая специально для этого приехала из Львова и кричала на воспитательниц, чтоб скорее исключили Соню, а то детей перепортит. Соня не очень понимала, как она может испортить детей, но преисполнилась чувством важности: ведь про неё знали в далёком Львове, почему-то боялись и прислали «официального представителя» специально «по её вопросу», хотя никаких вопросов Соня не задавала, чувствуя, что о случившемся с папой лучше помалкивать.

---

<sup>11</sup> Словарь Даля.

Мама по будням отлучалась то в Дрогобыч, то во Львов – искать, куда дели папу. По воскресеньям работала поломойкой в магазине. А ночами шила – Соня любила засыпать под стрёкот швейной машинки, который был для неё лучшей колыбельной.

Весь год Соня наслаждалась свободой, пропадая целыми днями то на речке, то в соседских садах, то запоем читая.

– Она Жюль Верна просто проглотила, – говорила мама смешные слова тёте Кысе, – а ведь ей и пяти нет! Что она там поняла? Боюсь, психику перегрузит. Отнимайте у неё книжки, гоните на воздух!

Однажды, когда Соня чинно гуляла по узким бориславским улочкам, заглядывая в соседские сады в поисках, с кем бы поиграть, неожиданно появился Ангел Маня и, прервав её радостные вопли, сразу огорошил почти строгим вопросом:

– Эй, что ты видишь перед собой?

– Дом, – растерялась Соня.

– Что ещё?

– На доме написано «Универмаг».

– А за ним?

– А за ним – деревья. И другие дома.

– А за ними?

– За ними я уже ничего не вижу. А что там?

– Там – Африка. Рукой подать! Пойдёшь по дороге на юг – выйдешь за город. Потом – по тропинке, которая вьётся среди деревень и лесов, потом – среди цветущих аулов и складчатых гор, пока не упруешься в море. А там – корабль. «Давай к нам, Соня!» – кричит капитан. Сядешь на корабль – ветер в лицо, дельфины из воды выпрыгивают! – а впереди уже зелёные пальмы, жёлтые пески, разноцветные птицы. Африка!

– А слева? – стоя лицом к югу, Соня вертела головой, вглядываясь в даль.

– Китай. Фанзы, бамбук, бледно-жёлто-лиловый восход над рисовыми полями, Великая Китайская стена...

– Тоже – рукой подать?

– Конечно! *Везде рукой подать!* Да и идти не всегда надо. Можно просто на месте стоять и медленно поворачиваться – всё отовсюду и так видно! Даже без волшебной Двери. Только надо *знать*, что где можно увидеть. Да многие ленятся узнавать.

– Я не лениюсь. Но с Дверью легче. А ещё лучше, чтоб корабль за мной приплыл. По морю интересней, чем просто стоять и смотреть...

– Хорошо, – пообещал Маня.

А на следующий день, когда Соня сидела в кресле и читала, уютно устроившись с ногами под просторным пледом тёти Кыси, воздух в комнате вдруг сгустился-сгустился, послышался плеск воды, а потом и сама вода заиграла солнечными бликами, подкатила волнами до кресла – и перед Соней закачался настоящий корабль с парусами.

– Эй! – поманил капитан. – Поплывёшь с нами?

– Тётя Кыся будет волноваться, – засомневалась Соня. – И вообще, я ещё не умею плавать. Вдруг корабль ко дну пойдёт?

– Корабль крепкий. А тётя Крыся не узнает, – пообещал капитан. – Для неё твоё отсутствие будет секундным. Не увидев тебя, она решит, что у неё неладно с головой. Зажмурит глаза, откроет – а ты уже в кресле!

Капитан чем-то – взглядом, что ли? – напоминал Ангела Маню, хотя был усатый, коренастый и совсем не похож на долговязого Маню.

Любопытство пересилило осторожность, Соня ступила на корабль – и он помчался по сверкающим волнам, весело хлопая парусами, пока не причалил к зелёному берегу.

На песке под пальмами сидели полуголые коричневые ребятишки, а перед ними у обломка скалы стоял широконосый губастый такой же полуголый человек с седыми курчавыми волосами и высекал на скале рыбу, бормоча одно и то же непонятное слово. Дети смотрели на него и острой палочкой процарапывали контуры такой же рыбы на толстых пальмовых листьях, лежащих стопками перед ними.

– Листья вместо бумажки, – догадалась Соня. – Как здорово! А что это за рыба?

– Это особенная рыба, – сказал капитан, интонациями став совсем похожим на Ангела Маню. – Она водилась здесь, но её стало мало. И старейшина назначает её амулетом рода: мол, берегите, не ешьте! А то она вовсе исчезнет. Для того чтоб эту рыбу узнавали в лицо, её надо нарисовать и запомнить. А чтоб она была уважаемой, ей надо *дать имя*. Слышишь? Он произносит его. Без имени она просто рыба. «Просторыбу» можно есть десятками – не жалко. А с именем – это уже известная рыба, своя, близко знакомая. Ведь и ты куклам даёшь имена. И после этого они становятся тебе родными, ты ощущаешь за них *ответственность*. Всеми дают имя, если хотят иметь с этим дело, разговаривать про это. Вон небо назвали «небом», воду – «водой», любовь – «любовью». Имя – граница между равнодушием и пониманием. *Понимание начинается с названия*. Но назвать – мало. Потом ещё надо про каждую вещь хорошенько поразмышлять, чтоб узнать, какая она *на самом деле*. Может, ей дали неправильное имя – и его пора изменить?

Соня вспомнила: тётя Кыся читала ей толстую книгу Библию, где к первому человеку, которого звали, как папу, Бог привёл зверей, чтобы «видеть, как он назовёт их». Бог, наверное, хотел убедиться в ответственности человека за порученных ему животных – вот и попросил дать имена. Как бы намекнул: так надо! С тех пор человек всё называет – и без этого не может. Это звери могут. «Надо поскорей узнать про все вещи, какие они *на самом деле* и почему им дали такое имя, а то буду, как кошка», – сказала себе Соня, которая слыла «почемучкой» и не по возрасту развитой, но ей казалось, что она знает мало, а хотелось знать *всё*.

А ещё тётя Кыся рассказывала: иногда в человека вселяется бес, и для того, чтоб его выгнать, надо выяснить, как беса зовут, и обратиться к нему по имени. Иначе он не выйдет. Может подумать: это кого-то другого гонят. «А если он не признается, как его зовут?» – спросила тогда Соня. «Узнать правильное имя – трудно, но не невозможно. *По разным признакам можно догадаться, что это за бес и как его зовут*», – ответила тётя Кыся. И добавила почти те же слова, какие произнёс капитан: «Просто надо хорошенько поразмышлять – и догадаешься»...

– Да, – подтвердил капитан, будто подслушав сонины мысли. – Дерево, цветок, птицу, зверя, человека – всё *надо назвать*. Бог не случайно попросил об этом Адама. Пока не назовёшь, не знаешь, что любить и беречь следует именно это. Но *чтобы сразить что-то, тоже надо знать, как это «что-то» зовётся*. И какое оно *на самом деле*. Иначе, как понять, с чем борешься? Иначе твой удар может пройти мимо цели... Ну, поплывём обратно!

Вмиг корабль домчал Соню до кресла. И вовремя. В комнату вошла тётя Кыся и стала ворчать, что Соня живёт без свежего воздуха. Она не знала: минуту назад Соня глотала солёные брызги, и свежий морской ветер гулял в её лёгких.

Взяв недочитанную книжку, Соня переместилась на лавку у калитки во двор Кольки-принца. Они в последнее время сдружились. Может, увидит, выйдет? Колька не замедлил появиться.

– И зачем ты книжки читаешь?

– А зачем ты играешь в футбол?

– Ну, мне в футбол нравится...

– А мне книжки нравятся...

– А что тебе нравится?

– Интересно! Я могу целый день читать, если не мешают.

– И я могу в футбол целый день. Пока не позовут. Даже если ребята уйдут, я один могу мяч гонять. Отхожу всё дальше от ворот – и бью! Здорово! А что ты станешь делать, если книжек не будет?

– Что? – задумалась Соня. И в самом деле – что? А что делают другие, когда у них нет того, что им надо, и этого негде взять?

– А что ты сделаешь, если у тебя мяча не будет? – осторожно поинтересовалась Соня.

– Банку консервную гонять буду. Или коробку из-под гуталина. Я плакать не буду! А ты будешь. Будешь!

– И я не буду, – набычилась Соня. – Я... Я... Я тоже сама. Сама книжки писать буду! Сама! Сама!!!

– Сама? Ты разве умеешь книжки писать?

– А ты разве умеешь мячи делать?

– Не умею, – признался Колька. – Банка – это не совсем мяч. Это *как будто* мяч. Настоящий мяч я не могу...

– А я могу *настоящую* книжку написать! Хоть сегодня!

– А про что?

– Про что хочешь! – Соня огляделась. – Хотя бы про дерево.

– Давай про мяч! Мне про дерево неинтересно.

– Давай! И знаешь что? Давай вместе книжки писать! – Соня побежала в дом за карандашом и бумагой, пока Колька переваривал смелое предположение, что тоже может писать книжки.

Прибежав с карандашом, тетрадкой для рисования и ножницами, Соня деловито разрезала тетрадку так, что получилась «книжка», важно раскрыла её и спросила:

– А что мы будем писать про мяч?

– Ну, он круглый и упругий...

– Ну и что? Яблоко вон тоже круглое и упругое. Значит, яблоко – это мяч? – Соня захихикала.

– Да, – растерялся Колька, – так получается...

– А вот и нет! – торжествовала Соня. – Ведь яблоко можно съесть, а мяч – нет! Яблоко – не мяч!

– Что пристала? – разозлился Колька. – И яблоко может стать мячом! Им тоже можно играть. Только жалко. Лучше яблоко съесть. И вообще, что про мяч писать? С ним играть надо!

Колька стукнул ботинком по мячу – и тот взмыл в небо. Но Соне не хотелось терять публику и соавтора в лице Кольки.

– Ну, давай про что-нибудь другое, – сказала она примирительно. – Про лужу, например.

– А что – лужа? Лужа – это просто вода от дождика и грязь.

– Вот и нет! В ней солнышко со дна светит, как прожектор в День Победы. И птицы летают, будто рыбы плавают. Наведу рябь – всё исчезнет. А потом опять появится. Там другая страна. Волшебная. В луже всегда запутка-перепутка. Посмотри! У нас здесь – деревья, а в луже они – водоросли. Здесь у нас птица с дерева вверх взлетает, а в луже птица-рыба вглубь уходит. Нам кажется: лужа – с носок ботинка. А на самом деле – дна нету! Вместо дна – небо. Слушай, а может, настоящие рыбы в речке думают, что они взлетают, когда ныряют?

– Может быть, – замороженно прошептал Колька.

Как интересно с этой Соней! Она всегда такое скажет, что не сразу сообразишь, что к чему, но при этом привычный мир вокруг превращается в манящую тайну. Его хочется исследовать, путешествовать от загадки к загадке, думать необычные мысли про самые обычные вещи, уважая себя за это и вырастая в собственных глазах.

– Смотри, – закричала Соня, – облако в луже плывёт. Вот сяду на облако и поплыву, как на лодке.

И – плюх в воду! Только брызги полетели.

– Перевернулась моя лодка, – сокрушалась Соня. – Теперь мама заругает, что пальтишко намочила...

– Знаешь, я бы написал ещё книжку про еду. Например, про мороженое. Мамка возила меня во Львов – и на вокзале эскимо купила. В шоколаде. На палочке. Его лижешь с разных сторон. Языку холодно и сладко. А палочка потом долго пахнет ванилью.

– Но ты ведь мороженое съел – и ничего не осталось! Значит, это будет книжка *про ничего?*

– Да? – задумался Колька и надолго замолчал.

– погоди! – тронула его за рукав Соня. – Я догадалась! Можно написать книжку про еду. Но только это будет книжка ещё и про тебя, как ты разную еду ешь и радуешься. И как потом вспоминаешь про это и снова радуешься. И как потом мы пишем про это и опять радуемся...

– Ко-о-лька, домой! Соня, домой! – почти одновременно послышалось с разных концов улицы.

Так и не успели они написать книжку про то, как радуются. И уже никогда не напишут – завтра рано-рано, когда за окном ещё будет ночь, Соня уедет из Борислава навсегда.

Минутное сожаление шевельнулось в Соне, потом его захлестнули радость и нетерпение – скорей бы завтра! Но перед самым домом она вдруг замедлила шаг, а потом вовсе остановилась и как-то *иначе* огляделась вокруг.

Она не ставила перед собою волшебную Дверь, но будто оказалась за её порогом.

Перед ней в предзакатной дымке лежал Борислав, в котором Сони *уже не было*, – она вдруг ощутила город не фрагментами, не в приложении к себе, то бегущей по его уютным улочкам, то играющей с ребятами в садах или у речки, а *отдельно* от себя и *целиком*.

Вдали звенели колокольцы сгоняемых домой с пастбищ невидимых коров. Слышалось далёкое топотанье. С тропинок, не видных за пёстрыми осенними садами и штaketником заборов, беззвучно выстреливала в небо вздымаемая коровами пыль, смешивалась с туманом и дымом из труб, подбрасывала вверх сухие опавшие листья – они танцевали, медленно кружась под нехитрую житейскую музыку вступающего в янтарный вечер маленького городка. Хриплые окрики невидимых пастухов смешивались с гоготаньем гусей, которое на закате почему-то всегда дружнее и громче, с квохтаньем кур, с чьим-то одиноким аккордеоном, с зовами родителей, собирающих детей к ужину.

Приглушённые туманом звуки стелились над мерцающей вдали рекой, над темнеющим лесом, над домами и огородами. Никогда уже среди этих звуков не послышится «Со-о-ня!»

Поток самостоятельно существующей без её участия жизни катил мимо величественные волны. Знакомые предметы вызвали ощущение чуда, казались не узнаваемыми до конца, рождая грусть, что уже не придётся их до конца узнать, насладиться ими сполна. Сердце сжалось от неизведанной прежде тоски – его тронуло древнее, как мир: «И это пройдёт».

Но рядом с сосущей тоской соседствовал сладкий восторг, как за маниной Дверью, – *восторг отстранения от себя, самозабвения* и будто в дар за это полученной полноты мира. Восторг растворения в сущем, расширения собственных границ вплоть до потери их.

Это не было испытанное за Дверью детское восхищение волшебством. Это был какой-то иной восторг – *взаправдашний*. . . восторг приобщения к странному и горькому чуду жизни. . . к великой вечности, которая может без нас, но готова откликнуться на зов и поделиться тайной, если зовущему будет куда её поместить в себе.

Это был восторг неизвестно к кому обращённой благодарности за щедрую красоту мира, которой может восхищаться любой, но не может присвоить, забрать, потому что она непреходяща, а он всего лишь проходил мимо пиршественного стола – и его кто-то просто угостил от щедрот своих.

Войдя в дом, Соня бросилась не к маме – с мамой она ещё будет долго! – а к тётке Кысе и повисла на ней, плача и целуя. Потом обцеловала и более строгую тётю Ядю, с которой была не так близка:

– Я вас никогда не забуду! Никогда! Никогда... Я вас люблю...

Всё кончается – и любовь ничего не может удержать, догадывалась Соня, которая в свои четыре с половиной года уже пережила немало потерь, но не хотела сама быть предательницей, как Колька, который убежал, так и не попросившись, как не попрощалась и загадочная подружка Надька – а ведь ей Соня накануне подарила кучу игрушек.

После ужина Соня разбила свою самую любимую тарелку. На ней был нарисован теремок, симпатичные звери и большеглазая девочка, похожая на Соню. Собрав последние остатки веры в то, что тарелка никак *не может, не должна* разбиться, раз Соня так её любит, она решила испытать её – и со всего размаху швырнула об пол. Тарелка разлетелась на куски. Соня долго плакала под кроватью. И мама, выманивая её оттуда обещаниями купить новую, ещё лучше, не могла понять, что горе Сони вызвано не потерей, а *предательством* – любимые люди и вещи не выдержали испытаний.

Всё кончается – и любовь ничего не в силах удержать. Так может, и удерживать не стоит?

Вот и с песком так же: чем сильнее сжимаешь ладошку, тем меньше в ней песка, он весь утекает сквозь пальцы, и только если раскрыть ладонь – на ней уместится внушительная горка. Может, надо просто радоваться, пока что-то хорошее есть? Не пытаться сделать его своим, не «зажимать в кулаке» и без сожаления расставаться с этим, когда приходит пора прощаться?

Соня уезжала из Борислава налегке. Она была готова к изменениям и изменам.

*«И предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытывать мудростию всё, что делается под небом: это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём»...<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Экклезиаста. Гл. 1, ст. 13.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Жизнь в Тасееве оказалась на удивление обыденной. Главными объектами были – в порядке убывания значимости – распивочная, стыдливо именуемая «чайная», объединённый с комендатурой сельсовет, лесопилка по периметру посёлка и ферма с молочным цехом. Золотых россыпей не наблюдалось. От лесопилок плыл сладкий аромат хвойной стружки, смешиваясь у фермы с острым запахом навоза. И дальше – с горьковатым дымом из труб невысоких изб и землянок, с бензиновыми парами грузовиков у чайной и автомобилей у комендатуры, возле которой сновали строгие люди в форме, пахнущие кожей блестящих портупей, одеколоном «Шипр» и крепким мужским потом. Они поддерживали в ссыльных и местных трудовой энтузиазм.

Этот островок человеческих испарений и будничных шумов окружали могучие леса, даже к опушке которых Соне запретили подходить, – в «Тайболе», как называли тайгу, водились медведи и волки.

Уже второй год Соня здесь. В тёплое время ей жилось достаточно привольно, но месяцев на семь Тасеево накрывала снежная зима, ограничивая передвижение холодом и сугробами. Их домик заваливало снегом по крышу. Откроешь дверь, а снаружи белая стена. Хочешь выйти – разгребай проход. Эва, не привыкшая к лопате, вставала затемно, чтобы прорыть в снегу узкий путь и не опоздать к восьми в контору, куда она устроилась счетоводом. Адам был не помощник – жил на лесопилке вместе с другими ссыльными и приходил домой в субботний вечер на выходной. Тогда и расчищал заносы у дома, освобождая от снега окошки, которые всю неделю не функционировали, – жить приходилось в полутьме при керосиновой лампе, лишь по воскресеньям свет проникал в комнату, оставаясь в ней день-два до следующего снегопада. Зато вода всегда под рукой: растопил снег – и умывайся!

Иногда мама брала Соню с собой на работу. Давала бумагу, ножницы, тетрадные скрепки, – и Соня ладила книжки-малютки, где записывала бесконечные истории с продолжениями, а когда надоедало или герои разбрелись кто куда, завершала важно: «А дальше вам знать не полагается» – и начинала новую «книжку». Но чаще играла дома одна – мама наделала кукол из колючих шаров репейника, смастерила из спичечных коробков изысканную кукольную мебель.

Однако главной игрой Сони было тереться среди людей и наблюдать за ними.

В Тасееве обитал исторически живущий народ. Повсюду пестрели плакаты, призывая к великим свершениям и утверждая, что часть из них творится здесь. Перед чайной среди окурков и смятых папиросных пачек парили на высоких железных опорах гордые слова: «Мы делаем историю!» и «Мой труд вливается в труд моей республики».

Соня понимала это так, что водка, которую кто-то где-то потрудился сделать, вливается тут в трудовые животы – говорят ведь: «работает, не шадя живота»! – а из множества таких животов и состоит республика Советов, где людям дают советы из Кремля, как делать историю. Наверное, с водкой это легче. Она изложила вопрос-догадку местным работягам – тем её объяснение понравилось.

– Умная девочка! Учёная девочка! – одобрительно зацокали они языками, и с тех пор, встречая Соню, уважительно здоровались с ней.

Однако папа сказал, что её «исследование» глупое, даже вредное, и попытался рассказать про поступательный ход истории, но в конце концов махнул рукой, заявив, что Соня ещё мала и потому не умеет исторически мыслить.

Соня же была уверена: она всё поняла. Вначале люди, когда ещё были первобытными, жили трудно, но славно и свободно. А потом, когда стали развиваться, и в иных головах созре-

вали, как яблоки, мысли о том, что можно жизнь улучшить, а на другие головы эти яблоки падали и искрами высекали такие же мысли, то начиналось переустройство, становилось ещё хуже – и опять приходилось всё переустраивать. Однако знание того, что в Тасееве делают историю («вдруг на этот раз получится?»), вселяло гордость, подкреплённую песней, которую часто можно было слышать из чёрного громкоговорителя на столбе:

«Так громче, песня, так ярче, пламя!

Нам тяжело, но мы поём.

Мы кузнецы! Идите с нами!

Мы счастье миру создаём!»

Соня любила маршировать под эту песню вокруг столба. И пыталась понять, как должно выглядеть «счастье мира», потому что наблюдаемое местное счастье было какое-то несчастливое. Может, всегда так бывает, когда заботятся о счастье для всех, забывая себя?

Многое казалось здесь Соне странным и не слишком понятным.

Работали тасеевцы в самом деле неотрывно и очень сосредоточенно – от темна до темна («Самое ответственное и нужное стране дело – работа!»), не уважали бесполезное времяпрепровождение вроде чтения книг («И чего ты, Соня, ерундой маешься? Занялась бы чем-то толковым!»), зато считали достойными занятиями на досуге лото-карты-домино, коллективные вечерние песнопения и сидение в чайной, где, если верить плакату, делалась история. То, другое и третье кончалось обычно мордобоем или в лучшем случае – тяжёлыми перебранками, но участники выходили из них взбодрёнными, будто обрели смысл жизни и ощутили, что хорошо отдохнули, день прожит не зря: к ним немного приблизилось счастье мира.

В этих шумных общественных мероприятиях не участвовали несколько тихих ссыльных интеллигентов и обособленно живущие «буряты», как их здесь называли<sup>13</sup>, опрятные и молчаливые. Промышляли «буряты», как прадеды, ловлей рыбы и зверя. И слыли мастерами по разниманию дерущихся, ибо были хоть низкорослы, но могучи, знали тайную «Голубиную Книгу», и неспешная речь их странностью своей действовала на местных мужиков магически:

– Не грязни дракою-сквернословием поселенную. Или, как ныне говорят, – Вселенную. Ты думаешь, – это звёзды далёкие? Нет, это наша общая поселенная, изба звёздная, куда поселили нас, заповедав главенство Слова чистого. Не то изба порушится! И ты вместе с нею!<sup>14</sup> Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости. Смерть и жизнь – во власти языка. Любящие его вкушают плоды его. А язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души...<sup>15</sup>

Им вторили живущие по соседству таёжники-зыряне. Только изъяснялись проще:

– Лес злых не любит, вражды не любит. При нём состоять с любовью следует. Когда живут бранчливо, тАйбола болеет, зверь уходит, красота меркнет. Смерть, одним словом. Допрыгаетесь! – грозили они, урезонивая буянивших тасеевцев и пришлых шофёров.

– Это старая правда! – отмахивались те.

– Старая правда всегда молода. Природу тАйболы не уважаешь – свою уважь! Каждый человек хорош, коли грязь соскоблит.

– Мы живём в историческом моменте великих свершений. В нём без ругани нельзя, – вяло оправдывались буяны, но ненадолго затихали, – видно, ища в себе «хорошего человека».

---

<sup>13</sup> Монголоиды, издавна обитающие у Тасеевой реки, а также похожие на них котты, чьи прадеды пришли из-под Канска, и такие же узкоглазые камасинцы, высланные сюда до войны из села Абалаково. Предки тех и других, шаманисты, приняли в 18 веке православие.

<sup>14</sup> Мотивы космогонии «Голубиной /Глубинной/ Книги».

<sup>15</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Притчей Соломоновых. Гл. 18, ст. 7, 21.

Главной достопримечательностью Тасеева числилась семидесятилетняя Микроба. Бывшая монашка, она поколесила по лагерям и ссылкам, выучилась ругаться похлеще любого мужика, но не потеряла истовой веры в бога.

– Ну, чистая микроба: в душу без мыла влезет и разъедает организму изнутри, разъедает! – говорили в сердцах мужики, когда та доставала их нравами.

Так и прилипла к ней кличка «Микроба», став как бы почётным званием, – она даже гордилась им, старалась соответствовать и была «всякой дырке затычка». Микроба дружила с «бурятами» («за то, что верой крепки») – рядом с ними начинала уважать себя, становилась благостней и тише.

Существование любого из здешних людей дробилось на несколько жизней, которые сильно отличались одна от другой. И каждый был разный в этих своих разных жизнях, непохожий на себя, каким был день или час назад. Соне виделась за этим ускользающая тайна: какой каждый *сам*? *На самом деле*? Или «*на самом деле*» не существует вопреки уверениям то ли капитана, то ли Ангела Мани?

– Дядя Михай! Что вы делаете?

– А ничего не делаю! Поняла? Ни-че-го. Не мешай ничего не делать! Так и норвят помешать...

– А как же счастье мира, дядя Михай? Ведь надо скорее делать историю!

– Отстань! История – она у каждого своя, а счастье – выдумка, мечтание.

В дневной рабочей жизни Михай возил на тщедушной кобыле Мэри доски с лесопилки к реке на сплав или к приходящей издалека колонне грузовиков, помогая размещать лес на приделанных к грузовикам платформах. Он ни минуты не сидел без работы. Мышцы его жилистого тела безостановочно двигались, вылезая буграми из-под выцветшей майки летом и пары драных фуфаяк зимой, когда он скидывал ватник, разгорячась трудом. Мышцы, казалось, жили самостоятельной умной и загадочной жизнью, которой не нужна речь, – они и так вели нескончаемый разговор друг с другом и с предметами, к которым прикасались руки-ноги Михея.

Дневной Михай большей частью молчал, лишь изредка выплёвывая: «Подмоги!», «Раздва, взяли!», «Но-о, паскуда!»

Вечерний Михай играл в домино с мужиками на собственноручно сколоченном столе с занозами, без умолку балагурил, и казалось: не сказанные днём слова рвались из него – он становился сплошным весёлым шумом. Но как и днём, всё время вертляво двигался, даже сидя за доминошным столом, будто натруженные за день мышцы не могли остановиться, шевелясь по инерции.

А сейчас неподвижно обмяк на мшистой просеке и был не похож на себя – ни на дневного, ни на вечернего. Может, *такой* – равнодушный ко всему и даже к себе самому – он и есть *настоящий*?

– Баба Маня, что вы делаете?

– А не видишь, дочка, радуюсь!

Баба Маня поливала какие-то зелёные ростки в кривых деревянных ящиках, которые стояли у неё на подоконнике, и, кажется, в самом деле радовалась, хотя вроде бы нечему. Тщедушного мужа её, бывшего учителя словесности, ссыльного и прощённого по истечении срока советской властью, но спившегося из-за ударов судьбы, называли «захребетник». Соня пыталась заглянуть под ворот глухого платья бабы Мани, чтоб увидеть, где там прячется муж, и разглядеть на нём следы ударов судьбы. Но скорее всего, размышляла Соня, он был у неё «за пазухой» – между огромными колышущимися грудями. Там больше места. Однако туда не заглянуть – высоко. Баба Маня отличалась богатырским сложением, зычным голосом и крот-

ким нравом, который никак не вязался с её видом «бой-бабы». Всю мощную энергию своего обширного тела и рвущегося из него трубного гласа она употребляла на защиту мужа, который, по слухам, гонял её «по коньку» и слова доброго не стоил.

– Он не работник – он поэт, – величаво трубила баба Маня. – Он мне стихи сочиняет! У каждого на земле – своё дело.

Когда «поэт» вылезал из-за хребта или из-за пазухи и обнаруживал себя, он шёл к людям на площадь перед сельсоветом. Молча и торжественно опорожнял два стакана водки. Громко и победно икал. Потом долго и глубоко вздыхал, значительно поднимая узловатый указательный палец к небу, загадочно произносил одни и те же слова: «Потому что именно!» – и прислушивался к их звучанию, видно, находя по мере удивлённого молчания всё более глубокий смысл в них, пока не падал под тяжестью обнаруженного смысла, который не мог выразить яснее, но явно знал то, чего не знает никто. Минут через десять начинал неловко елозить по земле, то ли пытаюсь встать, то ли устраиваясь удобнее. Потом сворачивался калачиком, подтянув к подбородку коленки, и произносил вторую не менее загадочную фразу: «В тени твоих ресниц»... Летом его оставляли лежать, пока не проспится. Зимой отволакивали за ноги в избу, чтоб не замёрз. Ритуал иногда нарушали милиционеры, которые забирали его на перевоспитание, но это им не удавалось, – и через пару недель поэта возвращали бабе Мане.

У молочного цеха при ферме всегда можно было поболтать с разговорчивым вахтёром Онуфрием, имя которого сократили до обидного «Фря», но он не обижался.

– А что, я и в самом деле был «фря». Представь, ходил в белой рубашке с галстуком и учился бальным танцам. Ну фря фрёй!

Казалось, ему самому это трудно было представить, и приходилось напоминать себе, что это – было. Он жил когда-то в Саратове, работал осветителем в театре.

– Однажды прожектор у меня сломался во время спектакля. А в зале партийный вождь с женой пьесу смотрели.

– Что, сам Сталин, что ли?

– Нет, поменьше рангом. Но и этого хватило! Меня прямо из театра под белы руки увели – за вредительство. И на Колыму в телячем вагоне.

– С телятами?

– Да нет, с людьми. Ты слушай. Я охранникам пьесы наизусть читал – меня за это любили, подкармливали. Так и выжил. Семь лет на Колыме отпахал, потом сюда на выселки послали. Слово-то какое давнее: выселки – высылка, значит. В Сибирь ещё при царе Алексее Михайловиче старообрядцев ссылали – за неправильную веру в бога. Не знали, что бога нет вовсе... Так вот – высылка. Кончился мой срок, да ехать некуда. Жена бросила. Дети не помнят. Это твоя мамка тебя к папаше привезла, чтоб ему не скучно было. Ты гордись мамкой!

У него не было кисти левой руки.

– А была?

– Да. Станком оторвало.

– А где она теперь?

– Собака съела. Год был голодный. Собаки тоже не жировали. А у нас Барбос – лохматый такой, не злой, ласковый. Я ему руку-то и скормил, чтоб добро не пропадало...

Тем временем в Тасееве шли обозначенные в лозунгах великие преобразования. Обновили портреты вождей, общественные здания. Чайная стала из грязно-синей ярко-зелёной («Чтоб зелёного змия не видно было», – шутили тасеевцы). Сельсовет же перекрасили в жёл-

тый. Михея, который спьяну определил сельсовет «жёлтым домом»<sup>16</sup>, угнали за намёк «далеко и высоко», хотя, казалось, куда уж дальше заброшенного в тайге Тасеева!

У Микробы сняли заборчик, поставленный ею вокруг самовольно сделанного на просеке огородика, где она тайно высадила капусту. На общем собрании дружно осудили её сепаратизм, непонимание задач мирового пролетариата и пригрозили загнать за другой забор, казённый, если будет упорствовать в мелкособственнических настроениях, на что Микроба угрюмо сказала:

– Пуганы...

Да так сказала, что непонятно было: то ли «пуганы», то ли «поганы». Но к счастью, на это никто не обратил внимания.

Для поддержания мирового пролетариата было решено месяц добровольно поработать без выходных и в обязательном порядке привлечь на общественные работы Микробу, чтоб отбить религиозную отрыжку прошлого, выразившуюся в словах, что, мол, «для парения духа в человецех и для отдыха дадено светлое Божье воскресенье, когда и Бог почил от трудов своих».

– То – бог, а то – мы! У нас силёнок побольше, и перспективы поперспективнее, – грозно сказали Микробе. – А не схочешь, так найдём способ, чтоб сама на работу побежала при полном воспарении духа.

– Да, – одобрил народ. – Нам воли давать нельзя! Дай нам волю – совсем скурвимся!

Единогласно проголосовали за правильную ликвидацию неправильного заборчика, незаконной капусты и поддержали аплодисментами призыв к трудовому энтузиазму. Записали эти важные решения в протокол и дали его начальникам, чтобы повезли в Канск, откуда сообщат самому Сталину, что в далёком Тасееве стоят на страже государственных интересов и в едином добровольном порыве отдают выходные дни ударному труду в поддержку мирового пролетариата. Потом дружно спели про то, как «все умрём в борьбе за это», и разошлись, горланя патриотическую частушку, которая, несмотря на матное слово в ней, демонстрировала уважение к величию вождя и потому не пресекалась:

– Ох, калИна-кАлина,  
х...й большой у Сталина!  
Больше, чем у Рыкова  
и у Петра Великова!

Чуть не попала под исторические преобразования и Соня, когда в маминой конторе, после того, как там побывала Соня, нашли гипсовый бюст Сталина, рот которого был перепачкан клюквенным соком, а перед ним лежал кусок выброшенных Микробой сырых кишок от зарезанной накануне курицы. Соня всего лишь кормила «куколку», но страшный намёк на людоедство генералиссимуса углядели в этом те, кто знал, что *так* можно про него подумать, – можно, но никак нельзя! Однако Соню по малолетству простили, строго пожури и пригрозив Эве, чтоб активнее воспитывала дочь в духе ленинизма-сталинизма и в историческом почтении к фигурам современности, пусть и гипсовым, а не то её с мужем упрячут в тюрьму, а дочь отдадут на перевоспитание в детдом.

После всего, что Соня за два года наслушалась-насмотрелась, в её голове всё перепуталось. Одни и те же люди были то злы, то добры. То бились до крови, то через час ходили в обнимку. То громко возмущались сущей ерундой, то были послушно смиренны, позволяя вертеть собою.

---

<sup>16</sup> «Жёлтыми домами» в старину называли дома для умалишённых.

Соня впервые поставила под сомнение мудрость мамы и незыблемость её правил. У мамы на всё были *правильные ответы*, но не было *правильных вопросов*, что обесценивало ответы.

Крамольная мысль поселилась в Соне: не всегда надо слушаться маму – она много знает, но не всё понимает. Знания её были, как листья без ветвей и ствола, которые сами по себе висели в воздухе, – ни к чему не приделанные, они не имели смысла, и правила её были неприменимы. В них не нуждалось живое булькающее варево, которое варилось вокруг, как и мама не нуждалась в нём. У неё всё было слишком просто: это – хорошо, это – плохо, это – красиво, это – нет, с этим следует иметь дело, с этим – не стоит. Но как же не иметь дела, если всё перемешано? Ведь тогда, значит, вовсе не жить! Тронешь одно, а под ним – совсем другое. Не станешь же всего сторониться! Значит, надо разобраться, понять.

К главному детскому вопросу «что как устроено?» прибавился другой, упрямый: как победить эту неразбериху и научиться управлять ею, чтобы не быть листиком, несомым ветром?

Не было на это ответов у мамы. Тем более их не могло быть у шестилетней девочки, которая не всегда может выразить словами неясные ощущения, – и значит, полагаться можно пока только на них.

Соня чувствовала: в недрах жизни вскипает другая жизнь, просится наружу, а в глубине уже набухает следующая, опять другая, рвётся на поверхность пузырями – то зловонными, то благоухающими, – смешиваясь в грязно-радужный мощный поток и увлекая за собою.

Жизнь и люди были, как матрёшки, – одна в другой: первая улыбалась, вторая печалилась, третья пугала злым лицом, четвёртая была равнодушной. И не поймёшь, от чего шархаться, к чему прилепляться, потому что всё это – *одна* жизнь, в которой живёшь. Одна жизнь, где «хорошо» и «плохо» незаметно переходят друг в друга – и нет границ между ними. Или есть? И Соня пока просто не может их заметить?

Она пыталась спастись в книжках – их мир был надёжней реального. Но вдруг написанное в них показалось неправдой, как показались выдумками и мамины сказки, и рассказы тёти Кыси. И даже про Ангела Маню она начала думать, что он ей просто снился. Стало как бы не за что держаться. Жизнь закачалась, как зыбкое деревянное корыто на воде.

И сама себе Соня стала казаться неправильной – смешной и глупой. Детскую открытую восторженность сменила застенчивость. Тревожили несовпадения разных ликов одних и тех же людей. И волшебная Дверь не помогала, хотя, когда Соня «ставила» её перед собой, красота начинала будоражить острее, разрозненные звуки сплетались в мелодию – и всё внутри заполняла тягучая, как ириска, сладкая жалость.

У большинства в Тасееве не было кровной родни. Каждый был сам по себе, как перекасти-поле, хотя внешне люди жили тесно и будто вместе. Но как бы проходили *мимо* друг друга, не касаясь. Волею судеб их забросило в эту точку пространства – приходилось обживать её и ладить со всеми. Однако какой-то главный смысл остался где-то за далёким порогом, который каждый переступил давным-давно – и покатился, покатился по миру, как листок оторванный, пытаясь зацепиться по дороге за что-то или кого-то. Но зацепиться не удавалось. Оставалось верить: всё повернётся к лучшему завтра. Или послезавтра. Иначе и жить не стоит. Но жизнь получалась какая-то грустная, где всего вперемешку, а держаться не за что. И люди от этого тосковали.

А когда совсем неумоготу делалось, невесёлые стихи-сказки сочиняли и печальные песни пели, от чего почему-то легчало – сердце будто истекало печалью на время и очищалось, становясь готовым к дальнейшему принятию жизни:

«На море-океане, на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на камне – светлица, в светлице красна девица Матерь Божия с сестрицами – Долей и Недолей. Прядут-сучат кудельку шёлкову: кому – от Доли нитка достанется, кому – от Недоли, а кому Матерь Божия в одну нить кудельки разные сплетает»...

«Как два зайца во поле сходились,  
Один бел заяц, другой сер заяц.  
Серой белого преодолел.  
Бел заяц – это Правда была.  
А сер заяц – это Кривда была.  
Кривда Правду преодолела.  
И взял Правду Бог на небо.  
А Кривда пошла по всей земли —  
И вселилась в люди лукавые»...

– Так уж устроено, – вздыхали местные. – Нет на земле правды. Так уж исстари повелось. Чего уж противиться?

И не противились. И даже сами Кривде порой прислуживали, обижая друг друга в угоду начальникам, чтоб Недолю не навлечь.

И в самом деле, получалось: нет на земле правды – у Бога она. Однако и с Богом – тоже неясно: одни утверждали, что его нет, другие в него верили и то обнадеживали им, то пугали. Но несовпадение того, что люди говорили и делали, вконец запутывало Соню.

Вот мама в Бога верит, крестит по утрам и вечерам Соню и даже читает при этом армянскую молитву: «Ханун ко, Ев вортхо, Ев хоко Српо, Амен»...<sup>17</sup> Но нет в маме всепрощающей любви, заповеданной Богом, о которой рассказывала тётя Кыся, – казалось, мама не любит никого, кроме Сони с Адамом; местных сторонится, за глаза называет «чернь» и брезгливо морщит губы. Папа в Бога не верит, но всех понимает, жалеет не осуждая – и люди рядом с ним делают добрее.

От папы у Сони теплело на сердце, а мамино брезгливое высокомерие она стеснялась: становилось жалко тех, на кого оно было обращено. Она боялась: вдруг люди поймут, что вежливая улыбка мамы и доброжелательные «Здравствуйте! Как поживаете?» – обманные, а на самом деле ей всё равно, кто как поживает.

Когда мама бывала свободна, то рьяно занималась Соней, оберегая от «тлетворного влияния улицы», – сочиняла с ней ребусы, кроссворды, шарады, читала Пушкина и пела красивые грустные романсы о хризантемах в саду, о трёх юных пажах, любивших королеву, о чайке, которую шутя убил охотник, и о камине, где печально догорает огонь.

А за окном гуляли местные:  
– Мне не надо шоколада,  
мне не надо колбасы.  
Дайте мне кусочек мыла  
постирать мои трусы!

Вот «брошенка» Лизавета начинает страдания:  
– Ветер дул, берёзкагнулась.  
Я в любви промахнулась.

---

<sup>17</sup> «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь».

Ураган леса качает —  
милый на меня серчает.

А вот заголосила тётка Анна, у которой муж в тюрьме:  
– Ой, как дымно – не проглотить.  
С кем рассталась – не воротишь...

В тот день, когда Соню припугнули страшными карами за шкodu с бюстом вождя, она тоже решила поделиться с людьми страхами – вышла на круг и завела басовитым речитативом «со слезой»:

– Кто-то в нашу дверь стучится,  
сердце моё ёкает:  
ой, за мамю пришли —  
увезут далёко...

Тут же кто-то откликнулся:  
– Не горюй ты, наша Соня,  
не печалься шибко!  
Отвоюем твою маму,  
скажем, что ошибка...

– А чего ж дядю Михея не отвоевали? – спросила тихо Соня, поняв вдруг, что участие местных, в общем-то, жалостливых и добрых, пасует перед опасностями и до дел не доходит... они всегда согласятся с чужой и даже со своей бедой и не станут противиться ей, страшась беды большей, – лучше потоскуют потом вместе, да этим ограничатся.

Соня почувствовала со стыдом, что на самом деле не очень-то любит этих людей – скорее, изучает, опасаясь их переменчивости, не доверяет и рассчитывать может лишь на себя. Ну и немножко на родителей, хотя с некоторых пор стало временами казаться, что она старше них.

Новая неизвестная ей самой сила вызревала в ней.

Гулянка как-то сама собой разладилась. Все разошлись.

– И-э-э-х, Соня, такой вечер попортила!

– Сами хороши, – огрызнулась Соня, чего никогда себе прежде не позволяла, и, опустив голову, побрела домой.

На другой день она исчезла.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Все заколдованные, – догадалась Соня, – но сами этого не знают! И мама с папой не знают – ведут себя, будто всё как надо. Но и над ними уже нависла тень Кощеева царства, превращает в кощеевых слуг всех без их ведома. Только она, Соня, пока не превратилась. Значит, только она может попытаться всех спасти. Или хотя бы себя и маму с папой. Но как? Если медлить, будет поздно!

Где же тот камень с подсказками, на котором написано, *что* будет, если налево пойдёшь или направо? Без подсказки – боязно!

А может, скрыть догадку? Притвориться, подладиться, обмануть враждебную силу, сделаться немой, чтоб себя не выдать? На месте остаться и ждать? Чего?! Вроде бы ей простили шкodu с бюстом вождя, но никуда не делась угроза отправить в детдом, где обреют налысо, наденут серый балахон и заставят ходить строем с утра до вечера, а маму с папой из-за неё посадят за решётку, «если *что*»... но «*что* если» – не угадаешь... кощеевы люди всё понимают по-своему... А значит: опасность притаилась за углом. Только и ждёт, когда Соня с тем углом поравняется ненароком. И грозовые тучи уже плывут из Кощеева царства, невидимо набухают в обманной прозрачной выси, готовятся пролиться чёрным дождем. И невидимый чёрный филин летает кругами, выглядывает: сделаешь не то – а он тут как тут! Набегут кощеевы слуги, свяжут маму, кинут в телегу, как андерсеновскую Элизу. Она уронит рыжие волосы в ладони и будет плакать. Не о себе – о Соне, которая уже и не девочка вовсе, а козлёночек. Превратили! Топочет копытцами за телегой и блеет:

– Костры горят горючие,  
Котлы кипят кипучие,  
Ножи точат булатные,  
Хотят меня зарезати.

Но никто её бляенья не понимает. Только мама. Понимает, а сделать ничего не может. И папа не может, потому что худой и характером мягкий – не умеет сопротивляться. И сам сразу умрёт от горя, когда узнает, что случилось, не станет дожидаться, чтобы кощеевы слуги бросили его в темницу... зачем ему жить одному, да ещё в темнице?

Нет, медлить нельзя! А то солнышко взойдёт и сядет, «сегодня» перейдёт в «завтра», зашагает Соня вперёд по минуткам – и не заметит, как поравняется с той, где спряталась опасность. Унюхает Соню, проснётся, разинет пасть, а из неё – рать кощеева... Нет, надо сегодня поспешить опасности навстречу, настигнуть и разглядеть хорошенько, пока та спит. Чтобы подготовиться к встрече с ней в завтрашнем дне... или подготовить путь отступления, уже понимая, от чего именно спастись. Так Соня поступала с темнотой под кроватью – подбегала, отставив предусмотрительно в сторону стулья сзади себя, чтобы свободней убежать, совала под кровать ступню и кричала: «На, кушай мою ногу!» А когда нога оставалась цела, успокаивалась и больше в тот вечер уже не боялась.

Нет, Соня не дастся кощеевым слугам! опередит их. обернётся серой уточкой. И сама – в царство Коцея. Прикинется дочкой кощеихиной. Поцелует «папу» – и он в принца превратится, как Чудище в «Аленьком цветочке». А не получится, Соня мышкой станет. Разузнает всё, выведает, где скрывается кощеева смерть и как до неё добраться. Перо Жар-птицы поднимет, яблок живых наберёт, чтобы потом ими всех расколдовывать.

Да только вот беда: не знает она, куда идти, – искать придётся. А если путь далёким окажется, долетит ли через горы и моря уточкой? Ведь она всего-навсего девочка, и крыльев у неё на самом деле нету.

Но вот птица: пока ходит по земле, крылья к телу прижаты, будто и не было никогда вовсе. А захочет взлететь, напряжёт мышцы – крылья раскрываются!

Значит, *главное – захотеть*, напрячь внутри все силы? И тогда обязательно случится что-то *правильное*? Например, крылья вырастут... или поток воздуха сам подхватит и понесёт, куда надо... или Ангел Маня поможет, ведь говорил же, что всегда невидимо её охраняет... если, конечно, он не приснился.

Нет. Лучше ни на кого не надеяться. И верить никому не стоит. Даже Ангелу Мане и Богу – когда они нужны, их никогда не бывает рядом! Поверишь, понадеешься, расслабишься – и не заметишь, как в силки угодишь.

Не-е-ет, когда *сама* – проще, спокойнее. Даже весело становится: есть только ты и всё остальное – один на один, кто кого?

Хоть и советуют сказки брать Веру, Надежду, Любовь в путь с собою, Соня возьмёт только Любовь – к маме с папой, к другим хорошим людям, к добрым волшебникам и вообще ко всему хорошему и красивому, которое хочешь защитить.

Вера с Надеждой беспомощные: всегда сами у кого-то что-то просят, что-то хотят получить от тех, кто сильнее.

Только Любовь ничего не просит, ни на кого не надеется – сама изнутри даёт силу и понимание: как всё *на самом деле* замечательно устроено и как любишь это, которое *на самом деле*, а не кажется, если даже другие об этом позабыли.

Любовь поможет понять, *что* нужно делать, чтобы растаяло в лучах солнца Кощеево царство... чтобы все улыбались, не дрались и пели красивые песни про то, как Правда спустилась с неба, а Кривда сжалась в чёрный комочек и скатилась с круглой Земли в никуда... и чтобы летали воздушные шары, как Первого Мая... и никогда бы не было зимы, а мыло с колбасой и шоколадом были всегда... и дядя Михей чтоб вернулся, и жених Лизаветы, и муж тётки Анны... и тАйбола чтоб не болела, и белки в ней всегда прыгали, и орешков для них чтобы вдоволь... и в Тасеевой реке завелись бы дельфины... а из комендатуры чтоб сделали цирк, и военные бы сняли формы с португепями, надели клоунские наряды, научились бы смеяться и смешить других и больше никого не пугали... и чтобы снова повидать тётю Кысю... а Колька чтоб сел на коня и искал бы Соню всю жизнь и нашёл бы, когда она вырастет в девушку... и он посадит её на коня – и они помчатся под весёлое ржанье по мягкой траве-мураве, а вокруг будут цвести яблони с вишнями, как в Бориславе...

И поутру, как только мама ушла на работу, Соня отправилась в Кощеево царство, прихватив, *как положено*, узелок с едой и гвоздь из родного дома – вытащила накануне из косяка.

И только решила, первые шаги сделала – тут же камень с подсказкой нашёлся.

За околицей лежал мшистый валун. Снег на нём стаял и обнажил мох, растущий стрелочкой. Явной такой стрелочкой! И указывала стрелочка в сторону окраины, где был детский дом.

Как она сразу не догадалась?! Конечно же, для начала надо отправиться в детдом и выяснить, так ли в самом деле там ужасно? Детдом стоял на солнечном пригорке за мыском тайги, отделяющим его от посёлка. Из-за высокого забора часто доносились ребячьи голоса. Самих детей никогда не было видно. Да и есть ли они там вообще? Может быть, кощеевы слуги обманом доставляют туда детей для злых волшебников, которые забирают себе их детство, как в «Сказке о потерянном времени», сами становятся детьми, а детей выпускают старичками, и никто – даже родные! – их узнать не могут?

Но если всё не так, и в детдоме не слишком плохо, то не стоит ли самой себя туда пристроить заранее, сочинив жалостную историю, что папу забрали в тюрьму, мама умерла – обыч-

ное дело! – и не осталось у неё, бедной сиротки, никого на белом свете? Тогда из-за её шкод, которые наверняка ещё будут, не пострадают настоящие мама с папой, потому что отвечать за Соню уже станут не они, а чужие люди. И в безопасности (дальше детдома не пошлют, и каша с киселём всегда будет!), оградив от себя маму с папой, она спокойно подумает, где может находиться Кощеево царство и как до него добраться...

Стараясь не попасть на глаза никому из знакомых, проваливаясь большими валенками в пористый мартовский снег, Соня деловито шла задами Тасеева к полоске тайги, за которой возвышался пригорок с детским домом, и напевала: «Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл. А от тебя, Кошей, и подавно уйду»...

Было немного страшно. И весело... Правда, слегка грызла совесть за брошенную маму. Но маме она оставила записку: мол, всех любит и собирается победить Кощея, и чтобы мама не волновалась, потому что она тепло оделась и взяла с собой еду...

**– Зачем ты не остановил меня тогда, Ангел Маня?! Может, легче бы сложилась моя жизнь, если перегорел бы порыв, я снова успокоилась бы под крылом мамы, продолжала тешиться сказками, сидя в кресле? Почему не удержал «книжную» девочку от рокового шага из детского Рая в Ад самостоятельности, самонадеянности, одиночества и свободы, совсем не приспособленный для мечтателей? Зачем позволил ступить, гонясь за сказкой, в совершенно не сказочный мир несообразностей, ловушек, тупиков?**

**Тот первый шаг породил череду событий... всю жизнь потом меня гнало упрямое желание найти потерянный Рай. А не найти – так построить. Здесь. Без чертежей. Самой. По камешку. Я с терпеливым упорством маньяка искала эти волшебные камешки, пригодные для моей постройки. А если не находила, то лепила. Из пыли, слюны, слёз, человеческих экскрементов. И пыталась соорудить хотя бы фундамент мне одной видимого прекрасного Отчего Дома. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи»...<sup>18</sup> Дело не в материале – не бывает плохого материала. И Бог слепил человека всего лишь из праха земного. Из того, что было под рукой, вернее – под ногами. Дело в том, ЧТО вдыхаешь в этот сор...**

**Позже я узнала: таких строителей было много. Но каждый был один на «своём участке». И разгадывал свои, только ему загаданные загадки. И боялся своего Минотавра. И преодолевая сопротивление «материала», кружил в одиночку – без Вергилия и Нити Ариадны – по Аду мучительных поисков невоплощённой формы и неизречённого слова... по Аду поисков ускользающей истины и себя самого.**

**И так – кругами, с переменным успехом – к полному неопределённости Чистилицу, где подводишь итоги и отдаёшь прожитые дни на суд другим. И до конца точно не знаешь: к чему привели твои неловкие попытки?**

**Примет ли тебя в конце пути Отец, как принял он распостёртого в пыли блудного сына? Ведь тот отчитался лишь шершавыми натруженными пятками... Лишь натруженные пятки в конце пути – не мало ли? Только и дел-то, что шёл и дошёл? Только и заслуг-то, что ошибался, не отчаивался и снова пробовал отыскать дорогу к Отчему Дому?**

**Есть ли смысл в этом? Стоило ли уходить?**

**Ах, зачем ты не остановил меня тогда, Ангел Маня?! Почему не пресёк безумное для шестилетней девочки желание отправиться из дома – в поисках Дома, на чужбину – в поисках Родины, от отца с матерью – в поисках других Отца с Матерью...**

<sup>18</sup> Слова из стихов А. Ахматовой.

без уверенности, что даже через десятки лет блуждания в мучительных лабиринтах Ада удастся найти желаемое?

То, что я желала, дразнило близостью – вот, вот оно, за порогом, только переступи порог! Но за ним не было ничего, кроме новых головоломок. И снова дразнил слышный только мне голос: вот, вот я, за порогом... То, что казалось завершением, оказывалось лишь предтечей каких-то событий, какого-то нового пути. Ненайденные камешки с загадочным рисунком всплывали в сознании и заставляли о себе тосковать, искать их, поддразнивая, что найти их невозможно.

А впереди всё шла маленькая Соня – и я никак не могла её догнать.

Я выросла, старела. А маленькая Соня шла и шла впереди меня, не оглядываясь...

Или так было надо? И свет можно видеть, лишь находясь в темноте?

Так было надо? И только находясь в месте, где недостаток, можно понять, чего не хватает в нём, если помнишь о полноте, из которой пришёл, когда не был чужд Вселенной? Главное – помнить?

Так было надо? И прав Матфей, говоря: «Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе; что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе»?<sup>19</sup>

И правдивы слова ересиарха Филиппа: «Те, кто говорит, что умрут сначала и потом воскреснут, – заблуждаются. Если не получают сначала воскресения, будучи ещё живыми, то умирая, не получают ничего»?<sup>20</sup>

Может быть, мой азарт объяснялся всего-навсего величиной выигрыша, о котором что-то во мне догадывалось?

Так было надо? И это был первый шаг к спасению? Яростное стремление к жизни, какой она ДОЛЖНА БЫТЬ, а вовсе не безрассудный героический порыв, не тайная склонность к суициду? Спасается лишь тот, кто рискует, а «любящий душу свою погубит её»?<sup>21</sup>

Так было надо, чтобы безумный поступок ребёнка заложил стойкий условный рефлекс разрушать свою жизнь за минуту до того, как её могут разрушить другие? ...смешивать собственной рукой карты судьбы и по-своему раскладывать снова, ускользая от заданности, обманывая рок? ...и быть готовой в любую секунду снова сломать рисунок и рассыпать мозаику, решая собрать новую картинку, чтобы наконец превратить разрозненные случайности в сопряжённые смыслом события и сомкнуть Небеса с землёю...

Так было НАДО? Чтобы выжить? Чтобы накопить силу? Чтобы воплотить себя? Или – через себя – другую, высшую Силу?

Для чего? Чего хотела Она от меня? На самом деле, как ты учил меня, Маня... на самом деле? Чего хотели от меня Небеса НА САМОМ ДЕЛЕ? Или всего лишь ликования каждой моей клеточки – живу! И славлю: «какой прекрасный день, какой прекрасный пень» и Тот, кто это сочинил... А бездны были нужны, потому что на их краю ликованье бывает особенно сильным? Ну, уж этого я дала Небесам в избытке!

Да, мои глаза никогда не были тусклыми. Но сколько ошибок я наделала! Как часто восторг убивали мысли: всё – иллюзии... дома на песке... и если Рима нет, то куда же ведут дороги?!

Неужели не было более простого пути? Или Путь никогда не бывает простым?

Или не бывает простым только Путь Победителя?

---

<sup>19</sup> Библия, Новый Завет, Евангелие от Матфея. Гл. 18, ст. 18.

<sup>20</sup> Апокриф «Евангелие от Филиппа», ст. 90.

<sup>21</sup> Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Гл. 12, ст. 25.

Зачем ты не остановил меня тогда, Ангел Маня? Зачем дальнейшими событиями дал мне, ребёнку, почувствовать вкус победы? Вроде бы я лишена собственного победителям тщеславия. Ведь именно его удовлетворение – **ГЛАВНАЯ НАГРАДА**: заполняет души победителей до отказа и не позволяет сомневаться – как же, лавровые венки, рукоплескания, безоговорочное признание заслуг! У меня не было такой награды – почти всегда оставалось сомнение в правильности того, что делаю. Даже если мне рукоплескали.

Хотя и колебаний не было: я всегда знала, что поступить могу **ТОЛЬКО** так. При всех сомнениях не стояло передо мной проблемы выбора. И может, мне, вышедшей в шесть лет из дома за свободой, была дарована благодать – высшая свобода: освобождение от свободы выбора?!

Человек становится по-настоящему свободным, если вообще не нужно выбирать? Мне почти никогда это не было нужно...

Бог не может никого спасти – он может лишь указать путь к спасению и авансировать благодатью?

Я так часто её ощущала, будто в самом деле меня ею одарили... просто так... ни за что... даром – **ДАРОМ**... Ведь, наверное, только благодать даёт возможность свободно и без страха жить? И даёт мир душе, несмотря на все противоречия... удивительный баланс взаимоисключающих чувств... и страшное, чудное напряжение на стыке, на той «проволоке», по которой я шла.

Может быть, Вергилий был внутри меня?

Отказавшись в шесть лет от проводников и посредников между собой и жизнью – от родителей, от Веры с Надеждой, от Бога, – может быть, я впустила Бога в себя, когда решила руководствоваться только Любовью? И много лет не догадывалась об этом?

Наравне, прав был Данте, поместив над своим Адом слова «Оставь надежду всяк сюда входящий»? Данте я тогда ещё не читала, но интуитивно угадала: по Аду нельзя ходить с надеждой. Она спутывает коконом... порождает рефлексии... лишает способности действовать. Надеясь на добрую поддержку извне, погибаешь, не находя её. Много раз потом я видела такое в жизни...

Я никогда ни от кого ничего не ждала. Любой подарок судьбы, хорошее отношение людей и Небес были всегда неожиданны – может, потому я так сильно этому радовалась и каждый раз была несказанно благодарна? И искренне удивлялась: за что мне это?

Нет, по Аду можно ходить только с Раем в душе!

Только тогда Ад безопасен и даже может кое-чему научить. И ты как «пятая колонна», засланная в Ад, – свет Рая изнутри тебя освещает его закоулки, уменьшает его территорию.

И если я не льщу себе, то как же много мне было дано! Так что я лукавлю, Маня, когда жалуюсь.

Конечно, у меня были свои награды... радостное ощущение полноты жизни... восторг перед совершенством Божьего Замысла... перед миром, каким он **МОЖЕТ** быть. Мне открывались хрупкие черты возможного прекрасного будущего – и позволялось тешиться тем, что я делаю их заметнее. Возможно, это куда **БОЛЬШЕЕ** тщеславие – чувствовать себя **СО-работником** Бога? А может, я была просто слишком самонадеянна? И всю жизнь себе что-то придумывала?

Но любовь... Её было так много!

**Непридуманной, настоящей... такого не сочинишь... такое только чувствуешь всем существом, как чувствуешь жар солнца над головой и насыщение внутри после обильной трапезы.**

**Но почему к свежему вкусу радости всегда примешивалась горчинка тайной печали? Послевкусие сладкого плода Древа Познания?**

**...Я устала, Маня. Может, потому ною, хотя, наверное, была счастливее многих... Я просто устала.**

**И всё-таки, почему ты не остановил меня тогда?**

*В окно влетел свежий ветер, тронул седые пряди за ушами. И раздался голос Ангела Мани:*

*– Сколько противоречивых вопросов! И почти в каждом – ответ. К чему тогда спрашивать? Такая путаница в мыслях и такое многословие в 86 лет – это непростительно!*

*– Склероз...*

*– Не прибедряйся! Нет у тебя склероза. И на самом деле ты всё про «в самом деле» понимаешь. И рано стала понимать. Однако должен признаться: ты часто оказывалась решительней, чем я предполагал. Хотя, отрёкшись от Веры с Надеждой, сильно рисковала выпустить в себя Сатану. Любовь без Веры очень уязвима – её легко обратить в жажду обладания, в деспотизм, в упоение властью над любимыми и любящими, в «праведное» осуждение тех, кто не входит в их круг, в самолюбование и многое другое, что не имеет отношения к Любви. Этим часто забавляется Враг Рода Человеческого.*

*– Как же я убереглась?*

*– А ты и не убереглась, не льсти себе. Враг побывал в тебе... и не однажды... и не раз готовился праздновать победу. Просто потом...*

*– Что потом...*

*Маня не отвечал.*

*Соня решила, что он уже улетел, но вдруг опять послышался его немного ворчливый голос:*

*– Первый шаг, первый шаг... почему не остановил... Да совсем не тогда был сделан первый шаг! Твой путь начался вовсе не с этого. Он начался гораздо раньше. И ты НА САМОМ ДЕЛЕ это прекрасно знаешь. Вспомни...*

**...Плод, до этого уютно покоившийся в чреве матери, вздрогнул. Всё вокруг пришло в движение. Завибрировали и стали устрашающе наступать, грозя раздавить, стены матки – его первого дома, бывшие ему надёжной защитой...**

**Привычный мир отторгал его...**

**Навалилась смертная тоска. Он до этого никогда не ощущал себя таким одиноким. Мать больше не питала его кислородом...**

**Далеко впереди зияло отверстие, из которого бил никогда не виденный яркий свет. Он манил и страшил одновременно. Но это был единственный выход...**

**Плод сосредоточился, сконцентрировал энергию и начал осторожно продвигаться. Это оказалось непросто. Стены трубы, ведущей к свету, больно сдавливали и отбрасывали обратно. С каждой неудачей его всё больше наполняла ярость – и он с большей силой кидался головой вперёд, пытаясь пробиться к выходу. Ему уже было всё равно – гибель или новая неизведанная жизнь ждёт там. Главным сейчас было – сосредоточиться на сиюминутной задаче.**

**Его задачей было – победить движением смерть здесь и сейчас...**

– Ты хотел, чтобы я это вспомнила? Мне и так утром вдруг привиделось это, хотя вроде бы помнить такое не дано человеку.

– Сегодня ты всё можешь. Сегодня день особенный...

– Чем?

Маня не ответил.

– Маня, откликнись! Ты хочешь сказать: это был первый шаг?

– Нет... Ещё раньше... Вспоминай!

...Наслаждение и боль пронзили одновременно, чуть не разорвав его вспышкой бешеной энергии. Она выстрелила его в горячий мутный поток, который стремительно нёсся вперёд, шевелясь от обилия упругих хвостатых тел, пышущих жаром и несомых той же энергией. Они то опережали его, то отставали, то налетали на него – приходилось их отталкивать и так же налетать на других, кто был впереди, стремясь к жаркому зовущему зеву, который – это он откуда-то знал! – примет лишь одного. И сомкнёт врата перед теми, кто не добежал, обрекая их сморщиться и одиноко увянуть в мёртвой белой слизи, всю силу из которой забрал только один – победитель!

Он не знал ещё слов. Не знал даже мыслей. Он был всего лишь маленькой клеточкой с хвостиком – одним из миллионов собратьев, которые теснили его со всех сторон. Но и то, каким он был, и какими были они, он тоже не знал, как не знал и то, почему взорвался их Дом, где они все жили, ещё не существуя, складываясь из чего-то потихоньку. Этот маленький хвост с головкой знал только, что ДОЛЖЕН спешить и НЕ ДОЛЖЕН беречь бока, чтоб осуществиться. И кто-то родной зовёт его, ждёт в нетерпении, потому что тоже нуждается в нём и не хочет, чтоб он умирал, потому что они оба должны воплотиться друг в друге и – воскреснуть в иной жизни. Иными.

Его задачей было – победить движением смерть...

– Это был первый шаг?

– Нет, ещё раньше...

...И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землёю. И было утро, день пятый.

Океан, густой и тёплый, покоился на тверди земной, пробуя её волною. И все создания ещё пребывали друг в друге, не зная, что уже сотворены и не могут не осуществиться, ибо Программист уже создал программу и условия для её работы.

По Всемирной Космической Сети побежали импульсы. И в недрах огромного водяного компьютера на Земле начались неотвратимые процессы.

Ибо Книга Бытия уже написана. Но Текст, несущий Смысл, ещё не распался на слова и знаки, чтобы потом бродить сновиденьями в каждом из них, заставляя тосковать по Единому Тексту, из которого они выпали.

Единство ещё не превратилось в множественность. Каждый его элемент пребывал пока в блаженном состоянии 0 и копил силу, чтобы выделиться в неповторимую единицу. И копил знание о том, что даже отъединившись от Целого, любой тем не менее сможет осуществиться лишь в собственном корне, а изначальный корень природы – Единосущный Творец.

Так семя, готовясь выпасть из треснувшего от спелости плода, знает, что смертью кончается легкомысленное желание носиться с ветром по свету, – только укоренившись в пугающе незнакомой земле, можно воскреснуть и продолжить цикл, получив жизнь вечную за претворение Высшей Воли через себя.

**И каждый, пребывая в до-бытии частичкой друг друга и тёплого океана, готовился помнить про Творца – свой изначальный корень – во веки веков, ибо блажен, кто это не забудет, почувствует в себе, воплощённом, не дрогнет при виде этого и исполнит программу.**

**И пройдя череду превращений задышит, зашевелится микроорганизмами в горстях земли, из которых будет слеплен человек через миллиард лет или через один день, ибо для Бога миллиард лет – что один день, а один день – как миллиард лет.**

**И вдохнёт Творец в человека Дух, и назначит своим отпечатком.**

**И Дух найдёт, на что опираться в нём, ибо каждая клеточка человека сама по себе будет помнить о чередности превращений и об изначальном родстве с Целым, когда всё пребывало во всём и в Боге, ещё не разъединившись.**

**И, наслаждаясь множественностью мира и уникальностью себя самого, человек будет томим тоской о единстве, догадываясь втайне, что каждый равен другому и все равны Одному.**

**И на песке, на бересте, на камне, на глине, холсте, нотном листе, бумаге, экране монитора станет писать двоичный код 111011001000, пытаюсь угадать ПРАВИЛЬНОЕ сочетание, каким пользовался Творец для организации Хаоса в вечно живой Порядок, укрощая своевольную бинарность.**

**И время начнёт становиться пространством, а пространство – временем, пока Будущее не придёт на пастбища Прошлого насыщаться его сочной травой, откуда вернётся к себе немного другим.**

**И треснет яйцо. И проклянется иное время. И взойдут иные небеса. И иной свет разольётся по ним. И смерти больше не будет – умрёт лишь незнание. И случайности обнаружат, что были не столь случайны. И махры на обороте ковра сложат узор.**

**И развяжутся узлы мнимых закономерностей. И воцарят иные Законы.**

**И Ахилл догонит черепаху. И Бог простит Агасфера. И женщина с мужчиной станут одно.**

**И крик «Прощай», пробежав по сфере Вселенной, сольётся с возгласом «Здравствуй»... и «ДО» соединится с «ПОТОМ»... и конец станет началом... и точки превратятся в отточия... и на белый лист упадут строчки. И составят Текст, который был до Времени.**

**...Она покоилась в этом знании. Она была самым этим знанием. Но вдруг в ней что-то толкнулось и выбросило из Целого.**

**...Океан был густым. И еды было вдоволь. Она поймала течение и стала искать собратьев. С кем-то соединялась, от кого-то увёртывалась, болела, толстела, распадалась и снова возрождалась более объёмной и сильной, с удивлением обнаруживая в себе всё новые умения и новые органы для восприятия мира и управления им и собою.**

**Это продолжалось один день или миллиард лет...**

**...Океан был по-прежнему густым и тёплым. И еды было вдоволь. Только темно. Лишь откуда-то сверху лился свет. Он манил и страшил одновременно. Океан становился ей тесен. Она всё чаще поднимала своё большое упругое тело на поверхность воды и, высунув голову, привыкала к свету и прозрачному воздуху, любовалась новыми красками, ловила плывущие с берега запахи и звуки.**

**...Так продолжалось один день или миллиард лет, пока однажды не толкнуло безумное желание – выплеснуться с волной на сушу и оставить там яйцекладку. Она пыталась раз за разом, пока не сумела именно на берегу освободить своё тело от груза. Ослепил свет, обжог горячий песок, охладила побитые бока мягкая влажная трава.**

**И... она увернулась от набегающей волны, чтобы та не возвратила её домой.**

**Как выделилась она когда-то в особь из сгустков солёного бульона, так же решительно покинула сейчас материнское лоно океана.**

**...И снова презрев привычку, границы и формы, не замечая скал и пропастей, поползла на будущие пашни и улицы будущих городов, чтобы заселить пустыри своими детьми и, значит, – собою... чтобы непрестанно изменяясь в них и с ними, превратиться через день или через миллионы лет в радугу петушиного крика, в грузную поступь кабана, в магическое мурчанье кошки, в шаг ночного стражника, в лекало бедра красотки, в прищуренный глаз мастерового, в мозоли лодочника, в лёгкие пальцы пианиста... и всё идти, идти, идти вперёд в своих детях, поглощая пространство и время, стряхивая пыль с башмаков, с лат, с острия копья, с фартука маркитантки, с клавесина, с тяжёлого фолианта, с пишущей машинки, с процессора, с автомобиля, готовя их к работе... и слышать в разных своих воплощениях голос с небес: «Проси о великом – и Бог добавит тебе малое»...**

**Это всё будет потом. Но она откуда-то знала это.**

**Она выйдет победителем, соперничая только с собой вчерашней, никого не убив и не дав убить себя, – просто двигаясь вперёд, не боясь неизвестности и защищаясь, если надо... идя на шаг быстрее, чем другие... дожидаясь, когда кто-то нагонит... и выглядывая за поворотом тех, кто, может быть, раньше начал путь и ушёл далеко за горизонт...**

**Ибо движение – это жизнь.**

**И только преодолев препятствия или полосу неудач, понимаешь, зачем они были даны.**

**Её задачей было – победить движением...**

*– Это всё была я? Но такое невозможно помнить! Это, должно быть, просто воображение...*

*– Это просто генетическая память. Однако попробуй вернуться ещё немного назад...*

*– Ещё назад? Разве есть куда?!*

*– Увидишь... Только для полноты ощущений постарайся не забыть некоторые понятия, ибо ты окажешься там, где они уже были, но их ещё не было в том виде, в каком появились потом...*

*– ???*

**...Она нежилась в блаженстве Мира и Знания, ощущая себя частью чего-то огромного, что меньше самого малого и больше самого большого...**

**частью Формы, Не Имеющей Пределов...**

**частью Бесконечности,**

**Не Занимающей Пространства...**

**частью вечного Покоя, прячущего в себе**

**Движение...**

**частью Недеяния, равного Действию...**

**частью безбрежной Свободы,**

**которая есть ограничивающий Канон...**

**частью прохладной Пустоты,**

**насыщенной обжигающей Полнотою...**

**частью Асимметрии,**

**упакованной в Симметрию...**

**частью Молчания, хранящего Мелодию...**

**частью Зова, который Ответ...  
частью строгого Логоса, пронизанного  
любящим Духом...  
частью холодного Разума,  
напоённого горячей Страстью...  
частью сурового Отца,  
соединённого с милосердной Матерью...  
частью Смысла, сжатого в Текст,  
где нет знаков...  
частью Информации,  
не нуждающейся в носителях...  
частью Намерения,  
становящегося Волей...  
и вмещало в себя мириады частиц,  
существ, чисел и понятий,  
которых никогда не было  
и которые были всегда...  
И во всём Этом, вместе с Ним,  
в блаженстве  
от динамического напряжения  
и прибывающей энергии  
она вибрировала в предчувствии  
неизбежного Акта Творения  
пульсирующей точкой**

.

– Как ты могла, Соня? Как ты могла? Мы искали тебя два дня... Думали, ты в тайге замёрзла... или что тебя волк съел, – плакала мама.

– Она так правдоподобно всё рассказала... Мы ни минуты не сомневались в том, что она сирота, и собирались завтра везти её в Канск... ведь у нас детский дом только для мальчиков, – оправдывалась директор детдома.

– Тебе совершенно не надо было никуда идти, чтобы победить Кощея, – сказала мама. – Ты можешь поступать в таких случаях куда проще! Я виновата, что не рассказала этого раньше. Ты ведь воскресный ребёнок – родилась в полдень воскресного дня. А воскресные полдничные дети обладают особым даром, только обращаться с ним надо осторожно. Их рисунки могут оживать. Их слова могут превращаться в реальность. Им достаточно чего-то сильно пожелать – как это осуществится. Вот ведь и дядя Иван сказал то же самое... Только смотри, как бы не населить мир чудовищами!

Зырянин дядя Иван в числе других встречал беглянку, журил её и радовался, что она нашлась. А когда Соня рассказала, что видела в тайге *зелёный луч*, странно посмотрел на Соню:

– Не всем дано зелёный луч увидеть. Кто видел его, тому особая сила дана, и открыто ему больше, чем другим...

Засыпала Соня в объятьях мамы, усердно думая о том, чтобы Кощей сам умер, и царство его рассыпалось.

Утром она проснулась от шума за окном, чьих-то рыданий и печальной музыки, медленно плывущей из громкоговорителей по Тасееву. Музыка была такой шемящей, и литавры так ужасно били по сердцу, что Соня расплакалась.

– Не смей плакать! Не смей! – вдруг закричала мама. – Радоваться надо! Это злодей умер...

– Кошей? – задохнулась Соня.

– Да... Теперь другая жизнь начнётся.

– А почему люди за окном плачут?

– Не все знают, что это был Кошей.

– Сталин? – не поверила ушам Соня, услышав, как медленный трагический голос из громкоговорителя произнёс это имя, перебив траурную музыку.

– Да. Это и был самый главный Кошей...

Значит, она всё-таки победила Кошея? Достаточно было просто пожелать, а перед этим честно постараться сделать всё, что в её силах?

Жизнь в самом деле походила на захватывающую сказку...

Календарь показывал 5 марта 1953-го года.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

– Вырвалась!

Час назад, узнав, что зачислена на факультет журналистики МГУ, Соня поехала с Манежа, где находился факультет, на Воробьёвы Горы к Главному высотному зданию Университета, недалеко от которого раскинулся Студгородок, – устраиваться в общежитие. Задержалась у МГУшной высотки. Долго разглядывала шпили и башенки, уходящие в синее июльское небо, ощущая, как за спиной шевелится и дышит «кипучая, могучая» столица, сердце Родины. Теперь на пять лет это будет её город. А там – посмотрим!

Она видела себя как бы со стороны: вот она, крепенькая, лёгкая, такая маленькая – немногим больше полутора метров! – и такая победительная! – с пижонской сумкой на длинном ремне через плечо стоит у подножья самого «умного» здания в главном городе страны, и чопорная высотка тенью легла ей под ноги, и неприступный город приглашающе распростёрся перед нею. И свежий ветер красиво треплет её густые каштановые кудри с рыжиной, вспыхивающей под солнцем. И большие карие глаза красиво блестят, как у Одри Хэпберн, играющей Наташу Ростову на первом балу. И красиво вздрагивают от возбуждения ноздри чуть крупноватого носа на смуглом лице с лёгким румянцем. И сочные яркие губы слегка приоткрыты, как перед поцелуем.

В этот миг самопоения она предала забвению – предала?! – всю свою прежнюю жизнь, которая стала вдруг совершенно ненужной. Отодвинулись все, населявшие эту жизнь. Они были чудесными и много ей дали, но Соне от них уже ничего не надо кроме того, чтобы они так же жили там, где живут, и чтобы она, если захочет, всегда могла к ним ненадолго вернуться.

Всё прошедшее спало с неё, как сухая шелуха со спелой луковицы, оставив белый тугой плод без одежд. И только слабым шуршаньем шелуха тихо напоминала о себе, что была. Была, но сейчас, мёртвая, валялась у ног – и Соня вот-вот переступит через неё и пойдёт дальше, а ветер унесёт шелуху. Вот-вот так и случится. Вот-вот. Пусть только ещё чуть-чуть пошелестит шелуха, пошепчет о былом... Оно уже не имеет власти над Соней.

– Вырвалась! – это победное слово рефреном повторялось в ней, как бы наливаясь силой, набухая от повторения и распирая ощущением свободы, полёта и предчувствием новой – обязательно прекрасной! – жизни. Её очертания проступали манящими картинками будущего, откуда – будто настраиваешь приёмник – доносились обрывки незнакомых мелодий, слов, сменяющих уже слышанные звуки станций, мимо которых проскочила ручка настройки...

...Так же тринадцать лет назад вышла она в изобильное солнце бакинского двора, вдохнула горьковатый запах нефти и акаций, перемешанный с приторным ароматом пенных бело-розовых олеандров, росших в маленьких палисадниках перед распахнутыми во двор дверьми, – и её обняло будущее, где предстояло жить, обрушился гомон, из которого постепенно выделились отдельные голоса, накладываясь на мелькающие в ней голоса покинутого Тасеева, клочковатые фразы вагонных разговоров, картинки и шумы страны, трудящейся за окнами поезда.

Прежние звуки будто прибыли вместе с Соней, задрожали эхом, слились с нынешними в невидимом колоколе под ослепительно синим небом бакинского двора, оглушили – и надо было выделить из них собственную мелодию, обозначить себя в новом мире, не затеряться среди множества разновозрастных ярких черноглазых детей, обступивших и заваливших вопросами – откуда она, кто её родители.

– Папа в Сибири пока работает. У меня ещё старшая сестра есть. Взрослая. На пятнадцать лет старше. Раньше она тут жила, потом в Москве училась. Сейчас в Эстонии с мужем живёт, в Таллине. Там есть улица Длинная Нога и улица Короткая Нога... Сестра – учительница русского и литературы. А я с мамой сюда из тайги приехала. Там белки, зайцы, медведи, волки. И зелёный луч. И снЕга – горы! И дома не такие, как здесь, а избушки. А до этого мы на Украине жили, в Бориславе. Там бандеровцы из леса выходили, людей убивали. Их боялись, пока всех не выловили... А тут, в Баку, – папин отчий дом. Квартира, то есть. Тут у вас здорово! Лучше, чем там, где я бывала.

Незнакомые названия, которыми она походя сыпала, завораживали ребят, большинство которых никогда не уезжали дальше Ростова, плохо представляли себе «горы снЕга», а бандитов видели только в кино. Соня была «девочка с прошлым». А то, что она признала превосходство Баку – а значит, и их превосходство! – полностью примирило с нею: и у них есть, что показать-рассказать.

Первый раунд Соня выиграла. Надо закрепить победу:

– А знаете, мои мама и папа – мне не родные...

И специальная пауза – для возбуждения интереса.

– Это тайна. Ну, ладно... только никому не говорите! А проболтаетесь – скажу, что сами сочинили...

Снова пауза – артистизм был не чужд ей. И – громким шёпотом:

– Меня удочерили, когда я была ещё грудняшка, ползунок. Думают: я не знаю. Говорят: я в Баку, родилась. А на самом деле я – со звезды.

– Врёшь! Чем докажешь?

– Может, вру, – неопределённо мотнула головой, – а может, не вру... Как хотите, думайте!

– А как ты попала со звезды сюда?

– Врать дальше? – с лёгкостью был выигран второй раунд. – Я с рождения много любопытничала, вот и уползла далеко. Там, на звезде. Села на камень. А он отвалился от моей звезды и упал на Землю. И попал вместе со мной к теперешней маме в огород. В Бориславе...

– А как ты не убилась?

– А я в лопухи упала. Они мягкие... А вообще, какая разница, кто откуда?! Не хотите – не верьте! Давайте играть!

Так и оставила загадку.

Про звезду Соня не совсем врала. С тех пор, как в ней обнаружились подтверждённые взрослыми волшебные умения, не свойственные большинству людей, Соня решила: это не потому, что она воскресный ребёнок, – мало ли кто родился в воскресенье?! Наверное, она найдёныш, родные родители на далёкой звезде до сих пор горюют, ищут её.

И хотя очень любила «приёмных» маму и папу, но часто вечерами, когда ложилась спать, горько плакала от тоски по настоящим маме-папе и родине, которых лишилась, не успев хорошенько узнать.

Однако город Баку ласково обнял, защекотал морским ветром ухо, нашёптывая незнакомые вкрадчивые слова, обдал жарким дыханием долгого лета, – и, не торопясь, незаметно проник в неё.

И воды новой родины бережно и любовно понесли Соню.

Пронизанная солнцем папина квартира плыла, как огромный старинный корабль под парусами бьющихся на ветру занавесок, – через раскрытую дверь по увитому виноградом крылечку на шумный зелёный квадратный двор, который вытекал в город сквозь туннель подворотни и распахнутый зев железных ворот. Течение разбивалось на потоки, струилось по улицам нарядного просторного города мимо пальм, лавров, кипарисов. И несло к морю. На её планете тоже, наверное, было море – так взволновало оно Соню, так защемило сердце смутным воспоминанием. И она полюбила его – снова и навек.

Двухкомнатная квартира с огромными смежными комнатами, трёхметровыми потолками, таинственными стенными шкафами, длинным тёмным коридором с дубовыми сундуками, через который вдруг сразу выныриваешь на солнечную веранду-кухню с распахнутыми для прохлады дверьми во двор, была богата сокровищами, как пещера Аладдина или пиратский корабль. Пока пробежишь по ней, в самом деле начнёт качать, как на корабле, от обилия впечатлений и пространств, заполненных волнующими вещами.

Мерцал потемневшим лаком буфет с фигурным фронтоном, где баловались толстые ангелочки – стоит лишь отвернуться! Потрескивали, разговаривая друг с другом старческими головами, шкафы с медными ручками-лапками, скрывающие кучу тяжёлых книг с золотыми обрезами, как в Бориславе у тёти Кыси. Начнёшь листать такую книгу – и она запАхнет, запАхнет чем-то старинным, чему нет названия, зашуршат тонкие пергаментные листы, хранящие тайну спрятанных под ними картинок.

На стенах в резных рамах жили кавалеры и дамы. На этажерке – вспыхивающие инкрустацией шкатулки с россыпями пуговиц и ворохами ниток, домики-портсигары. На просторном письменном столе – тяжёлый чернильный прибор с ветряной мельницей и мальчиком у колодца с бочонками, куда наливались красные, синие и чёрные чернила. На широких подоконниках – накрытые марлевыми шапочками трёхлитровые баллоны с вареньями-соленьями.

И над всем этим плясали в солнечных лучах радужные пылинки, колыхался кипельно белый тюль занавесок, запуская со свежим ветром запахи с «того двора». Так, в отличие от главного – большого, «переднего» – двора, называли маленький узкий участок, вытянутый под окнами их квартиры на первом этаже, отгороженный от остального мира инжировыми деревьями.

Там, в хибарке, обвитой виноградными лозами, жил древний, сам скрюченный и коричневый, как лоза, старик Дадаш. Он разводил коз и кур, питался яйцами, козьим молоком, инжиром, виноградом и «чем Бог пошлёт».

Крик петухов Дадаша, неожиданный в городе, будил по утрам Соню. И она, ещё в трусиках и маечке, бежала во двор – в туалет. В их квартире, как и в других квартирах этого двухэтажного дома туалетов не было. Они располагались по четырём углам большого главного двора и служили темой вечных раздоров между соседями:

– Сирануш! Твоя очередь клозет убирать! Не забыла?

– Какой клозет, Марго?

– Уборную, темнота, уборную!

Казалось, жизнь обитателей этого многонационального дома круглый год проходила во дворе, и все про всех всё знали, потому что всегда, кроме трёх зимних месяцев, было тепло – и почти никогда не закрывались двери квартир, из которых летели через двор перекрёстные разноязыкие крики. Несмотря на частые короткие ссоры, здесь царили дружба народов, взаимовыручка и взаимопонимание. Общим языком был русский, как и во всём городе. Но армяне спрашивали азербайджанцев о чём-то по-азербайджански, желая подчеркнуть уважение к собеседнику, те отвечали по-армянски, дабы ответить той же любезностью.

– Салам алейкум, Мамед!

– Барев<sup>22</sup>, Геворк!

– Неджясян, Мамед?

– Камац-камац<sup>23</sup>, Геворк.

А на другой день:

– Вонцес, Геворк?

---

<sup>22</sup> Салам алейкум – здравствуй (азербайдж.). Барев – здравствуй (армянск.).

<sup>23</sup> Неджясян – как поживаешь? (азербайдж.). Камац-камац – потихоньку (армянск.).

– Йаваш-йаваш<sup>24</sup>, Мамед.

По двору бегали армянские дети с азербайджанскими именами и азербайджанские дети – с армянскими. Если в семье умирал первый ребёнок и Бог давал второго, то его – чтоб обмануть нависший над семьёй рок – называли именем бабушки или дедушки соседа другой национальности, и соседи становились «кирвЯ» – кумовья.

В адрес детей то и дело летели страшные проклятья вперемешку с ласковым «балик-джан»<sup>25</sup>, но при этом их обожали и позволяли почти всё:

– Балик-джан, Грета, клёхет тагэм<sup>26</sup>, сходи, наконец, в магазин купить маме яички! Пока ты соберёшься, из них цыплята выведутся! Аствац танэ кез!<sup>27</sup>

Но если кто-то повышал голос на их детей, матери налетали на обидчика ястребом:

– Тётя Гаянэ, зачем на ребёнка кричишь? Подумаешь, стекло мячом выбил! Зачем тебе стекло? Всё равно окна всегда открыты.

Лёгкий юмор с обязательной подковыркой вился между слов:

– Артасес, иди домой! Тебе важней я или нарды?

– Ва-а! Конечно, нарды, Ашхеник, курочка моя! Помогают тебя терпеть...

– Сара Абрамовна! Можете одолжить луковицу (сахар, муку, пару картофелин)? Честное слово, отдам!

– Ай, Тамара, вечно ты шо-то просишь! Шоб отдать всё, шо ты назанимала, весь рынок скупить придётся. И шо ты себе думаешь? Твой босяк-сапожник сможет тебе заработать на весь рынок? Конечно, нет. Ну, иди, иди – одолжу. И не клянись честным словом. Ты про честь разве понимаешь? Ты про честь думаешь: она между ног прячется – дочь свою никуда не пускаешь, боишься – честь отнимут. Так пора уже и добровольно отдать – ей ведь под тридцать...

Дочь с «честью между ног», толстая томная усатая Анечка, невозмутимо сидела на крыльце часами, подперев щеку пухлой рукой и загадочно улыбалась, – точь-в-точь Мона Лиза!

Каждое утро начиналось с криков торговцев, старьёвщиков и мастеров, обходящих бакинские дворы в поисках заработка. У каждого – своя мелодия выкрика.

Все старьёвщики кричали на один манер:

– Старве-е-ещ пакпа-а-а-им! Старве-е-ещ пакпа-а-а-им!

И дети бежали к родителям выпрашивать старые вещи, потому что за это старьёвщики давали им, по их желанию, не деньги, а дудочки, хлопушки, блестящие пуговицы.

Все стекольщики вставляли в свой выкрик явственное икание:

– Сте-ик-к-ла вставляйм! Сте-ик-к-ла вставляйм!

Мацони – особый местный кефир – привозили на маленьких серых ишачках. По их бокам на скрученной жгутом тряпке, перекинутой через худенькую спину, висели тяжёлые бидоны. Ишачок цокал копытцами, делая обязательный круг по двору. За ним летел истошный крик торговли (это обычно были женщины-мусульманки с убранными под чёрные платки волосами, закутанные до пят в чёрные мешковатые одежды с длинными рукавами и почему-то всегда в галошах):

– Ма-а-цу-у-у-ун! Ма-а-цу-у-у-ун! – длинное распевное высокое «у» под цоканье ишачка долго отдавалось эхом. Свежий с кислинкой запах только что створоженного молока дразнил ноздри.

В небе над двором бились на ветру белые простыни, развешенные между окнами второго этажа от стены до стены напротив. Двор от этого походил на большой корабль с парусами. Впечатление усиливал скрип роликов, через которые переброшена двойная верёвка, чтобы прямо

<sup>24</sup> Вонцес – как поживаешь? (армянск.). Йаваш-йаваш – потихоньку (азербайдж.).

<sup>25</sup> Балик-джан – дорогое дитя (армянск.).

<sup>26</sup> Клёхет тагэм – голову твою похороню (армянск.).

<sup>27</sup> Аствац танэ кез – чтоб тебя Бог забрал (армянск.).

из окна подтягивать к себе высохшие вещи или, наоборот, – незанятую бельём часть верёвки, когда надо повесить постиранное.

Простынные «паруса» хлопали и ниже – над самыми головами: верёвки натянуты и между деревьями. А чтобы не задевать бельё головой, верёвки подпирали, поднимая их вверх высокими деревянными шестами, похожими на мачты. Их называли «подстановки». Казалось: двор опутан корабельными снастями.

Были у этого корабля и свои трюмы: подвалы по периметру двора – бесценные лабиринты для прятков или игры в путешественников, придуманную Соней.

Она привнесла много нового в местную жизнь. Организовала театр, став, конечно, его главным режиссёром и сценаристом, не забывая указывать это в программках. Выявив у каждого таланты, подбирала репертуар, разучивала с ребятами стихи-песни, репетировала сценки. А по воскресеньям под акацией расставляли стулья, взрослым продавали билеты по двадцать копеек – и начиналось представление. На вырученные деньги покупали мороженое. Стала выходить ежемесячная газета «Наш двор». Почти настоящая – тиражом в пару десятков экземпляров. Конечно, издателем, редактором и ведущим корреспондентом была сама Соня, но и другим позволяла развернуться. «Штат» её «сотрудников» – от пяти до пятнадцати лет – разнюхивал новости, предлагал темы статей. Соня сочиняла заметки, делала первый экземпляр и отдавала «в типографию» – корпорация переписчиков с красивыми почерками «тиражировала» газету. А малыши продавали её за те же двадцать копеек, что и билеты в «театр», – цена на всё была стандартная. И потом опять пировали.

Соня всех беззастенчиво использовала, но никто не был в обиде. Каждый получал своё от такого симбиоза. Мир и разумная деятельность поселились во дворе.

Взрослые души в ней не чаяли, ласково щипали за щёчку:

– Так и хочется съесть!

Соне нравилась всеобщая симпатия, но и напрягала – приходилось чаще думать не о том, что хочется сказать или сделать, а как бы понравиться, не разочаровать никого. Стала тяготить собственная исключительность, будто это было *стыдное*, что следовало бы скрывать, а скрыть не удавалось.

С каждой новой победой вместо радости ощущала всё большую пустоту. Исчезло чувство лёгкости, полёта. Мысли о том, какое впечатление она производит, опутывали серым коконом, тянули к земле. И за волшебную Дверь не вырваться – контур её никак не желал светиться, а не представив этого, Дверь не «поставишь».

Соня злилась на себя, на других. То грубила, чтобы разочаровать, то пыталась сделаться незаметной. Но избыток энергии и одарённость выталкивали её в центр внимания. Вместо чувства единения со всеми это рождало чувство одиночества.

Будто все вокруг были только её *игрушками*. А играть было не с кем.

– Ангел Маня, что со мной происходит? Что мне делать? Я стала неправильная, – взывала Соня.

Маня не появлялся. Может, не знает её нового адреса?

Однажды будто послышался чей-то немного ворчливый голос:

– Если они сами хотят быть твоими игрушками – играй ими! *Живые игрушки* – что может быть интереснее?!

Но ей показалось: это был не голос Мани...

Пухленькая красивая Милка с оглушительно синими глазами в чёрных густых ресницах любила хвастаться – платьем в оборочку, родившимся недавно братиком Гургенчиком, дорогой шоколадной конфетой, – чтоб завидовали.

– Вот поколдую – и ты свою дурацкую конфету уронишь, – сказала как-то в сердцах Соня.

– Вот и нет! Вот и не уроню! – заверещала Милка, с оскорбительными ужимками прыгая вокруг Сони. – У меня есть, а у тебя нету! У меня есть, а у тебя нету!

И, споткнувшись, в самом деле уронила недоеденную конфету.

– Это я сама споткнулась, сама! Колдовать ты все равно не умеешь!

– Ах, так?! – задыхнулась от ярости Соня. – Ну, увидишь, умею или нет. Вот сделаю так, что твой золотой Гургенчик умрёт, и не будет у тебя братика.

Сказала – и испугалась. Но не того, что вдруг на самом деле умрёт Гургенчик, который ей очень даже нравился, а того, что не сбудутся опрометчиво вылетевшие слова, – и Милка разнесёт всем, что Соня просто болтушка.

Надо же было случиться такому горю, что младенца Гургенчика этой же ночью придавили родители, спавшие с ним в одной постели. Он задохнулся под большими грудями милкиной мамы – тёти Эры.

– Это ты сделала! Ты! – вопила на весь двор Милка. – Злая ведьма! Пусть все знают!

– Да не умею я на самом деле колдовать! Не умею! Это совпадение! Я не хотела, чтоб Гургенчик умер.

– Саткес ту<sup>28</sup>, ведьма! Не подходи близко! – крикнула сквозь рыдания тётя Эра, когда Соня пришла оправдываться.

Даже мама, кажется, поверила, что Соня повинна в смерти Гургенчика.

Ребята и даже часть взрослых объявили Соне бойкот.

«Мне и одной хорошо, – думала Соня с обидой. – Есть чем заняться. А Милка сама была первая не права. И тётя Эра – зачем разрешает Милке хвастаться, с лакомствами во двор выходить? Ведь не у всех они есть. Я хотела, чтобы *по справедливости*. Хотя, конечно, бедный Гургенчик не при чём. Но не я же его к тёте Эре под живот подсунула»...

Однако была в ужасе. До онемения. Как теперь говорить что-то и даже думать, раз некоторые её слова так страшно сбываются?! И если даже не она повинна в случившемся, всё равно нехорошо. Ведь вовсе не о справедливости заботилась – стало обидно *за себя*, хотела Милке досадить. И расхвасталась. Так же, как Милка. Но неужели в самом деле виноваты её слова? Тогда выходит: она действительно ведьма, а не волшебница. Вот и Сталина мыслями убила. Хоть туда и дорога Кошеей, но ведь убила же. Значит, убивать она может, а возродить – нет?

«Каин, где брат твой Авель?»...

Осознав всю бездну своей порочности, Соня поклялась себе, что отныне будет осторожней с мыслями и словами. Сделалась тихой. Надарила Милке игрушек, за что получила трёпку от мамы и милкино прощение. Бойкот с Сони ребята сняли – без неё стало скучно. Но играть во двор Соня ещё долго не выходила – наказывала себя. Ссылалась на то, что надо готовиться к школе, учиться счёту – в этом году идти в первый класс. А на самом деле было стыдно лишний раз появляться на людях.

Но вскоре её проступок померк перед злодеяниями более масштабной личности. В газетах – доклад Президиума ЦК КПСС<sup>29</sup> «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Л. П. Берия», разразившийся, как гром среди ясного неба. Доклад обсуждали на всех углах. Заговорили о миллионах ссыльных и безвинно убитых:

– Ара, э, я вот какой вещь по секрету скажу, – раздавался с утра громкий крик. – Что, Лаврентий в безвоздушном пространстве это творил? Один? Никто ничего не знал, не видел?! Что, они там хейваны<sup>30</sup>? И Сталин тоже?

– А-а, твой секрет всем понятный. Подожди, и до Иосифа доберутся!

Вскоре в СССР впервые произвели испытание водородной бомбы – появилась новая тема для обсуждений. Одни гордились мощью страны. Другие вспоминали ружьё, которое, если повесили на стену в первом акте, то в последнем обязательно выстрелит.

<sup>28</sup> Саткес ту – чтоб тебе сдохнуть (армянск.).

<sup>29</sup> ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.

<sup>30</sup> Хейваны – тупые скоты (азербайдж.).

А ещё всех беспокоила Куба. Мелькнуло сообщение, что неизвестный герой Фидель Кастро с группой сторонников совершил вылазку против диктатора Батисты, напав на казармы «Монкада» в Сантьяго. Многих участников штурма казарм выловили. Герой Фидель скрылся. Во дворе очень за него переживали.

– Что пишут? Не поймали Фиделя? – уходя на работу, спрашивали старого Аслана, который с семи утра сидел во дворе с ворохом газет.

– Нет. Ничего не пишут. Значит, не поймали. Иди работай спокойно.

Бурное лето 1953-го вынесло в не менее бурный сентябрь. Соня пошла в школу. Грянули очередные общественные перемены – в первые дни осени первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Сергеевич Хрущёв. Все собрались в тесной квартире Лапидусов у экрана единственного на весь двор телевизора. Новый глава государства понравился – улыбочивый, с подвижным простецким лицом хитрована и живой речью, он выглядел своим парнем на фоне ушедшего из истории железобетонного лица Генералиссимуса и лиц-масок нынешней партийной гвардии. С экрана пахнуло иной жизнью – свободной.

Полетели месяцы, годы.

Вернулся из ссылки папа. Тётя Лиза пододвигает к Соне за обедом рюмку, как взрослой:

– Налей, Адам, девочке «Кагор» – большая уже.

Соня получает одни пятёрки.

– Мама, почему не говоришь: «Молодец»?

– Что тут особенного?

– Папа, у многих уже есть двойки.

– Они от времени отстают.

Вокруг – победительная жизнь. Надо поспевать за ней. Страна наращивает успехи. В Обнинске под Калугой дала ток первая в мире атомная электростанция. Началось освоение целины. Папа купил радиоприёмник. Из него – задорное: «Вьётся дорога длинная! Здравствуй, земля целинная!». Так и видишь: горизонт со всех сторон, разнотравьем пахнет, как в Боснии.

Корь, свинка, частые ангины. Хрустящие накрахмаленные простыни холодят разгорячённое температурой тело. Стопка старых «Мурзилков» рядом. Никто не пристаёт: «сделай то, сделай это».

– Люблю болеть!

– Почему?

– Уютно!

На обед – курица.

– Мама, и у человека внутри косточки?

– Да.

Все внутри – скелеты. И она – скелет. Косточки ломкие, хрупкие – страшно!

– Знаешь, мама, хожу по двору, по улице – и скелетов вместо людей вижу. И в зеркале вместо себя – скелет.

– Адам, у ребёнка нездоровый интерес к смерти.

Болеет тётя Лиза. Жалко! Хрипит, хрипит, рукой за Соню хватается.

Умерла. Лежит на столе. Живот горой. А внутри – тоже скелет. Черви мясо съедят. Скелет останется. Через тыщу лет его найдут археологи: «Какой красивый скелет!» – что с того тётё Лизе?

– Соня! Какая ты жестокая! Почему мухам крылья поотрывала и на сковородке жарить?

– Хочу понять, как умирают.

– Поняла?

– Нет. Завтра у Гаспарянов будут барана резать. Пойду посмотреть. Может пойму?

– Зачем?

– Не знаю. *Надо* понять. Смотрела, как петуху голову отрезают – не поняла. Он без головы по двору бегал. Значит, жизнь не в голове. А где?

– Адам, почему не реагируешь?! Я же тебе говорила: у Сони нездоровое любопытство к смерти.

Да нет, же, нет – интересно, как жизнь устроена, где её границы...

«С новым 1955-м годом!»

Сестра Ирочка приехала ребёнка рожать. Девочка. Кладут на стол:

– Вот вам памятник Пушкину! Наинкой назвали.

Соня долго плачет:

– Вырастет, ведьмой станет...

Во дворе – дифтерит. В школе – скарлатина. Карантин. Опять дома.

– Ирочка, ты спи, спи. Я утром рано встану, Нанке кашку сварю.

Варит, кормит малышку и приговаривает:

– Не бойся! Я не дам тебе стать ведьмой! Я тебя любить буду. Кого любят, ведьмами не становятся.

Чтобы подстраховаться стала называть девочку не ведьминским именем Наина, а Наной, Наночкой, Нанулей. Имя пристало.

Вокруг обсуждают Указ «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией», – разве война только что кончилась?!

Подписан Варшавский договор о дружбе и сотрудничестве между СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией. Это называется «соцлагерь». Со словом «лагерь» в сонинской семье плохие ассоциации. Мама шепчет, что «дружба» держится на советских танках, которые застряли в этих странах после победы над фашистской Германией:

– Всё равно что спасти соседей от бандитов, а за это поселиться у них и диктовать, как жить...

Ирочка с малышкой вернулись в Таллин. Лето. Мама с Аинькой открывают сундук – весь год надо ждать этого момента! – достают для просушки на солнце шкуру лисы со стеклянными глазами. Зачем? Чтоб снова спрятать на год?

Двадцатый съезд КПСС. Все опять носятся с газетами. Ждут публикации какого-то тайного доклада – он «всё перевернёт». Тайна рвётся с языка тех, кто узнал её на закрытых партсобраниях. Шепчут другим:

– Я же говорил: и до Иосифа доберутся!

– И я говорил: Лаврентий не сам народ губил – это всё Иоська...

– Теперь меня реабилитируют, – светится папа. – Только бы в партии восстановили!

Мама кричит:

– Мало тебя партия пинала? Был дураком – дураком остался.

Папа молчит. Перелёг на отдельную кровать в другую комнату. Так и стали спать раздельно.

Лето 1956-го. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».

Осенью в школьных учебниках заставляют закрашивать чернилами портреты Сталина и его имя. «А я давно знала, что он злодей!»

Опять вокруг шепчутся – СССР ввёл войска в Венгрию. Та захотела вырваться из соцлагеря.

Мама с папой опять препираются. Папа всё позже возвращается из своей «Лениннефти». В доме неуютно.

– Мама, почему вы с папой не разведётесь? Вы ведь не любите друг друга.

– Не лезь в дела взрослых!

Когда мамы нет рядом, Соня дёргает за рукав папу:

– Почему вы с мамой не расходитесь? Вы ведь не любите друг друга.

– Кто тебе такое сказал? – деланно удивляется папа.

Все врут. Всех жалко...

Весной 1957-го Хрущёв обещает: догоним США по производству мяса-масла-молока на душу населения. Хорошо бы! В Баку мяса не достать. И масло с перебоями. Купили холодильник. Что в нём хранить? Лучше б купили телевизор! Опубликовано сообщение о строительстве в СССР атомной электростанции. А если когда-нибудь взорвётся?

Летом – в Москву, к маминой сестре тёте Варе. Она знаменитость: известный литературовед, знала Маяковского, дружит с Корнеем Чуковским. В Москве – Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Музыка, смех, воздушные шары, весёлая толкотня, пёстрые одежды. Сколько радостных лиц – жёлтые, коричневые, чёрные, узкоглазые, широкоглазые! Как много разных народов на свете! Флажками машут: «Мир! Дружба!». Танцуют, поют: «Песню дружбы запеваёт молодёжь, молодёжь, молодёжь! Эту песню не задушишь, не убьёшь! Не убьёшь, не убьёшь». Публикуется заявление советских учёных с призывом запрещения ядерного оружия. И тут же – сообщение ТАСС о проведении в Советском Союзе успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты и термоядерных взрывов. Непонятно: правая рука не знает, что делает левая?! Мама с утра до вечера таскает Соню по музеям – образовывает. Просит Варю показать Чуковскому сонины стихи.

– Не надо! – сопротивляется Соня.

Не желает она ни признаний, ни критики. Она просто так стихи пишет, когда хочется. Завтра не захочет – не станет. Соне не нравится, что мама относится к ней слишком серьёзно, – это обязывает.

– Ты хочешь меня прикрепить к бумажке, как бабочку, и под ней на всю жизнь написать, кто она такая, – и будет она навсегда только мёртвая бабочка! – кричит Соня маме. – А я хочу летать, то на цветок садиться, то на руку, то в окошко к кому-нибудь залететь, то к платью прицепиться.

– Какие образы! – восхищаются мама с Варей.

– Опять прикнопливаете! – орёт Соня, и когда тётка всё-таки берёт её на дачу к Чуковскому, изображает там из себя недоразвитую. Варе стыдно, а Соня злится: ей испортили радость встречи с живым Чуковским. Нет бы *просто так* её к писателю привезти, чтоб не надо было изображать из себя ни умную, ни дуру.

Ура! – в СССР произведён запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Кошмар! – опубликовано сообщение ТАСС об испытании в СССР мощного водородного заряда. Для всех это *разрозненные* события. Для Сони они *связаны* странной противоестественной связью. Она чувствует *напряжение противоречий*. Воздух будто сгущается. Чудесное и страшное – рядом. На Кубе снова беспокойно. Диктатор Батиста бомбит восставший город Сьенфуэгос. Свой же народ! А вокруг опять ликование: запущен второй спутник Земли. С собакой Лайкой. У Сони начали набухать грудки. Когда играют в ловитки, она старается подвернуться грудками под руку водящего. А когда играют в прятки, любит прятаться со старшими мальчиками. Приятно касаться их новыми маленькими грудками, делая вид, что ничего особенного – просто хочешь вжаться друг в друга, делаясь незаметнее, чтоб не нашли подольше. Возбуждённое дыхание смешивается, сердце прыгает. Какое время удивительное! Всё впервые – и в мире, и у Сони: спутники, бомбы, грудки, ощущение своего и чужого тела.

Шестой класс. Седьмой. Восьмой. Девятый. Советский Союз послал первую в мире ракету к Луне. Вскоре следующую – с межпланетной станцией на борту. Она передаёт на Землю изображение невидимой части Луны. Все у телевизоров – на глазах творится История! Началось строительство Братской ГЭС – перекрывают Ангару. По радио и в газетах – ежедневные сводки с этой всесоюзной стройки. Растут новые города. Старые прирастают «Черёмушками». Страна в радостном движении. Кажется, все куда-то едут. Энтузиазм, романтика дорог!

Поют: «Там, где речка, речка Бирюса...» – будто эта Бирюса за окном. И Луна приблизилась. И звёзды. Завтра к ним полетят ракеты с людьми! «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»... Всё – рядом. Всё – по плечу. Стоит лишь захотеть! Везде – новоселья. Любимая песня – «Голубые города»: «Людам снятся иногда голубые города, у которых названия нет». Мечты становятся явью, обретают плоть, имя. Обращение Пленума ЦК КПСС к народу: «Героическим трудом воздвигнем величественное здание коммунизма». Назван и срок: через двадцать лет. В школе – диспуты о том, как будут жить при коммунизме, кто окажется нужнее – «физики» или «лирики». В Москве – Первый Международный кинофестиваль. На Кубе – революция. В Гавану вошли мятежные войска Че Геварры – чернобородого красавца с горящим взглядом. Диктатор Батиста бежал в Доминиканскую республику. Фидель Кастро становится главой Кубы. В СССР – опять ликование: ещё одна социалистическая страна! И прямо под носом Америки, которая уже много лет в состоянии «холодной войны» с СССР! Советский Союз и США собачатся, договариваясь о прекращении ядерных испытаний, – каждая из сторон требует гарантий, что другая выполнит условия. Русские провозглашают отказ от испытаний в одностороннем порядке – американцы уличают русских в обмане – ТАСС заявляет о возобновлении в СССР ядерной гонки, чтоб уже не тайно, а явно, раз поймали на лжи. На Кубе – национализация заводов, плантаций.

Мама мрачно замечает:

– И мы с этого начинали. Теперь и эти весёлые ребята понюхают лагерей и тюрем.

В Гаване – советская выставка. Во дворе всезнающие старики шепчут, что с выставочными экспонатами СССР везёт на Кубу оружие.

В сонинской квартире появились телефон, телевизор, проигрыватель. У Сони – первая шариковая ручка. Ещё ни у кого в Баку такой нет – папа привёз из Москвы, из командировки.

Новые ветры несут и маму – она выкидывает тяжёлые комоды, буфеты, стулья с резными стёршимися спинками, заменяя их неустойчивыми полированными шкапами на паучьих ножках и табуретками-трёхногами с цветным холодным плексигласом вместо тёплого дерева. Плексиглас – современно, модно, как стала модна бьющая электричеством синтетика вместо уютных штапелей и ситцев. Папа с Аинькой вяло сопротивляются переменам. Мама обвиняет их в консерватизме. «Надоело нищенствовать!» – она хочет жить, «как люди». Разве «как люди» – это блестящая зеркальными поверхностями мебель? Что ей отражать? Отчуждённые лица мамы и папы? Робкое воспитанное личико Аиньки? «Как люди» – это когда не молчат за обедом. Соне маму жалко. Мама ищет заменитель счастья, надеясь: с новыми вещами придёт новая жизнь. Старая мебель – для неё символ прежних несчастий. Она не вещи выкидывает – *символы!* Это напоминает шаманство.

Шаманские новации и на высшем уровне. И тоже к хорошему не приводят. Хрущёв велел сеять кукурузу вместо ржи и пшеницы. Кукурузы стало много – начались перебои с хлебом. Приходится занимать с ночи очередь в булочную, чтобы к утру, когда подвезут хлеб, может быть, оказаться в числе счастливиц. Через каждые два-три часа члены семей подменяют друг друга – иначе не выстоять. Очередь разбухает на несколько кварталов – и хлеба на каждого всё равно не хватает.

Утром, не выспавшись, – в школу. Лучше прогулять. С закадычной подружкой Валькой – к морю!

– А он...

– А ты?

– А я...

– Ой, ты, кажется, влюблена?!

– Может быть. Только, наверное, сразу в нескольких.

Но у Лёвика – самые голубые глаза, самые красивые губы и крепкие по-мужски большие кисти рук! Это волнует. Он сонин сосед. По утрам из-за стены доносятся вальсы Шопена,

которые Лёвик играет на рояле. Может быть, ей? Он *так* на неё временами смотрит! Соня громко кричит что-то маме, чтобы Лёвик понял: она здесь, за стеной, она слышит его игру. Лёвик начинает «Песню Элизе». Соня ставит на проигрыватель пластинку, отвечая ему «Песней Сольвейг» Грига и «Письмом Татьяны» из оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Эту оперу (как и несколько других) она знает наизусть. С одной из самых любимых школьных подруг Лией они часто под пластинки, а то и без них, исполняют дурными голосами целые куски из опер. Лия очень духовная и мало с кем водится, кроме Сони. Многие её не понимают – она слишком серьёзная. Но Соне это нравится: со всеми она только «здесь и сейчас», а с Лией – «езде и всегда».

Они скользят разговорами по векам, «путешествуют» по дальним странам. Сократ, декабристы для них ближе одноклассников, родней родственников. Таити ближе школы. Когда Соня рядом с Лией, ей удаётся «ставить» волшебную Дверь и приглашать за порог подругу. Дверь Лию принимает. И они парят в *параллельных мирах*, не замечая времени. А для Лии сама Соня – как волшебная дверь: только взглянет живыми глазами, пошепчет таинственно – и будто оказываешься на быстрой карусели. Скачут весёлые лошадки с плюмажами. Убыстряют бег резвые ноги с зеркальными копытцами – в них мелькают, отражаясь, века и страны...

И дурачиться Лия умеет. В ней, несмотря на серьёзность и начитанность, много детского. Как в Соне. Остальные их подружки стараются быть «девушками». Соня стесняется с ними проявлять щенячью детскость, которой у неё в избытке. Со всеми Соня немного *урезанная*. С Лией такая, как есть.

Но Лия немного замедленная. Слишком верная – людям, идеям, полюбившимся героям. Как мальчик в «Честном слове» Пантелеева: все уже давно разошлись по домам – а он всё стоит на часах, куда был поставлен в начале игры. Лия не умеет поспевать за обстоятельствами, изменяться с ними. Постоянная, не слишком поворотливая Лия лучше чересчур гибкой ветреной Сони – Лия преданная, как Санчо Панса. Она всегда под рукой, когда Соне надо. Соня не часто отвечает тем же. То и дело Соня, увлекшись чем-то или кем-то, увсвистывает далеко – и вдруг обнаруживает, что Лии нет рядом: та стоит на прежнем месте и тихо ждёт, когда Соня вернётся к ней. Или за ней, чтобы взять с собою. А Соня злится: почему она должна всё время подбирать Лию? Пусть сама! Если хочет. Лия хочет. Но сама не умеет. Когда её не зовут, ей кажется, что она навязывается. Она застенчивая и гордая. А Соне часто не до неё. Соня стремительно мчится вперёд, не оглядываясь. Лия чувствует себя отторгнутой. И каждый раз молча умирает. Умирает тысячи раз.

«Каин! Где брат твой Авель?» – «Откуда мне знать? Я не сторож брату моему».

Школа сотрясается от сониных выдумок. Её последнее увлечение – футуристы. Стала выпускать рукописный журнал «Беснующийся Олимп». Каждый номер разной формы – круглый, ромбовидный. Журнал обрастает бунтарями. Они обличают ханжество, косность системы образования и – страшно подумать! – язвы окружающей жизни вообще. Учителя испугались, что школу могут назвать «рассадником антисоветчины». Но и обрадовались: когда бунтари-одиночки занимаются общим делом, легче направить их энергию в желаемое русло. Послали на переговоры с Соней самых уважаемых ею учителей – те уговорили переориентировать анархический журнал на лояльный с более скучным названием «Солнце в ладонях», обещав за это помощь и поддержку в других начинаниях. Соня тут же пользуется предложением. Она давно лелеет мечту о школьных вечерах нового типа: когда зрители и выступающие не разделены сценой, а все – обязательно с приглашёнными знаменитостями! – сидят в зале за столиками со свечами, фруктами, лимонадом и с места разговаривают с другими о чём-то важном, читают стихи, поют, показывают фокусы, встанут – потанцуют, и снова читают стихи, разговаривают. Она устраивает такой вечер – «Огонёк», потому что идёт он под огоньки свеч, – приглашает ребят из других школ. Пришли и журналисты, поэты, писатели, артисты. И московские телевизионщики, которые в это время снимали что-то в Баку. А спустя полгода такой

же «Огонёк» – в телевизоре! С тех пор «Голубые огоньки» (потому что экран светится голубым светом) – неотъемлемая часть праздничных телепередач. Слизали её идею? Или она витала в воздухе? Но Соня гордится, что была пионером идеи.

По всему земному шару – перемены. Время такое – перемен. Становятся независимыми Кипр, Мадагаскар, Сомали, Камерун, Алжир, Нигерия, Северная Родезия, переименованная Замбией, Бельгийское Конго, став Заиром. В газетах и в телевизоре – новый герой: курчавый негр-танский лидер борьбы за независимость Патрис Лумумба.

Израиль выследил и задержал в Аргентине Адольфа Эйхмана, виновного в организации преследования евреев во время второй мировой войны. СССР, который в «контрах» с Израилем, почему-то осуждает этот справедливый акт возмездия.

Мир обходят портреты четырёх советских моряков, унесённых на обломке баржи в Тихий океан. Спасли их американцы. Поразились: «Сорок девять дней без пищи?!» По версии злых языков, герои якобы просто ответили: «Мы с детства привычные». На мотив попури буги-вуги с рок-н-роллом появляется песенка: «Зиганшин – буги, Поплавский – рок! Федотов съел второй сапог». Буги-вуги и рок – новые западные танцы. Их танцуют «стиляги».

Четырнадцатилетней Соне эти танцы нравятся. Ритмично дёргается под бешеную музыку тело, выделявая сногшибательные пируэты. Встряливаешь копной волос под убыстряющийся ритм, проскальзываешь меж ног партнёра, вскакиваешь, сталкиваешься с ним тугой грудью, вздрагиваешь, отскакиваешь, снова приближаешься, возбуждая мерцающими касаниями, пока не падаешь партнёру на руки с последним аккордом или вы вместе не падаете на пол. Восемнадцатилетние приятели сониной двоюродной сестры Мары прямо в очереди стоят, чтоб пригласить Соню! Мара, скучная и анемичная, так танцевать не умеет. Она зовёт на вечеринки живую подвижную Соню для приманивания мальчиков. Те приходят. Из-за Сони. Мара надеется: «женихи» задержатся, – наготовливает салатиков, покупает вино. А «женихи» гурьбой идут провожать домой Соню. Мара дарит им к праздникам галстуки, чтобы сделать «обязанными». Ей хочется замуж. Но замуж её не берут. От неё ощущение живущей в шкафу. Кажется, её руки и глаза постоянно шарят по полкам шкафов, даже когда те закрыты. Будто шуплыми костлявенькими пальчиками, похожими на куриные кости, она всё время деловито перебирает спрятанное в шкафах добро – прикидывает, чего у неё не хватает. Наверное, мальчики от неё шарахаются, потому что им кажется: Мара их тоже хочет посадить в шкаф. Когда она бывает в доме у Сони или ещё у кого-нибудь, её блёклые глазки и цепкие пальчики с синюшно-бледными коготками примериваются и к чужим шкафам, будто проникая сквозь закрытые створки, как бы гипнотизируя чужие вещи, чтобы те поверили: они должны жить у Мары. Так часто и получается. Мара умеет выпрашивать подарки. С вещами ей везёт больше, чем с мальчиками. А Соне не нужны ни вещи, ни марины мальчики. Ей просто приятно, что она нравится. Что она полна сил и жизни. Что лучшие мальчики у неё впереди. И вообще впереди много хорошего. И живёт она в сильной стране, которой можно гордиться.

Вот опять её страна отправила в космос корабль-спутник с собаками Белкой и Стрелкой. Хрущёв прибывает на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк на ядерном ракетном эсминце – мол, знай наших! Глупый безвкусный вызов. Гордость Сони сменяется стыдом за страну. Но вскоре снова гордится: тело злодея Сталина выносят из мавзолея на Красной площади. Мама покупает коньяк, зовёт гостей. Папа необычно возбуждён и радостен. Имя Сталина убирают из названий городов, заводов, улиц. Культ личности развенчан окончательно.

Апрель 1961-го. Первый полёт человека в космос! Это – русский, Юрий Гагарин. Уроки отменяют. Многих отпустили и с работы. Кажется, весь Баку на улицах! Впервые массовые манифестации возникают не организовано, а стихийно. По телевизору показывают: ликует каждый город, посёлок! Говорят: так было лишь однажды в День Победы над фашистской Германией. Люди смеются, машут флажками, косынками, кепками, разноцветными воздушными шарами.

А через несколько дней самолёты США бомбят Кубу. С американских кораблей на Плайя-Хирон высадили десант. Его уничтожают. Говорят: с помощью советского оружия и советских военных. И что СССР срочно и скрытно размещает на Кубе ракеты, нацеленные на США. А через год уже открыто предоставляет оружие Кубе, но продолжает и тайное оснащение ракетных баз. Тайна просачивается. Америка возмущена. Фидель неумело врёт, что СССР помогает Кубе создавать не ракетные базы, а базы рыболовного флота. Американский президент не верит – его самолёты У-2 во время разведывательной аэрофотосъёмки зафиксировали на острове советские ракеты! Месяц за месяцем Советский Союз и Америка ссорятся. Осенью 1962-го президент Кеннеди объявляет блокаду Кубы для предотвращения поставок оружия и призывает Хрущёва отказаться от действий, угрожающих миру. В Карибском море сосредоточены мощные военные силы. Приведены в боеготовность войска в Западной Европе. Ядерные подводные лодки США занимают боевые позиции. СССР грозит ответным ударом. Карибский кризис.

«Неужели я погибну, так и не пожив?! Даже не поцеловавшись ни разу?» – по ночам Соне снятся похожие на акул ракеты. Они медленно вылетают из океана и летят к ней. Сейчас её не станет. Ничего не станет. Земля треснет и рассыпется на метеориты. Впрочем, Соня готова погибнуть, если это предотвратит войну. Лишь бы Земля осталась и всегда была!

Когда её в детстве спрашивали, какое бы желание она загадала доброму волшебнику, Соня неизменно отвечала:

– Чтобы Земля и люди на ней существовали вечно.

– Как? – удивлялись спрашивающие. – Ты разве не хочешь велосипед или жить вечно вместе с родными и друзьями? Или ещё чего-нибудь для себя?

– А это и есть для себя.

Соне казалось: если погибнет Земля с человечеством, это обесценит и её жизнь, и Пушкина с Моцартом – будто не жили они никогда, и всё было бессмысленным!

Не зная толком, что такое смерть, она мечтала о бессмертии. Но не о том, чтобы жить вечно в своём теле со своими глазами, руками, ногами, голосом, и даже не о том, чтоб о ней знали и помнили те, кого она не знает и не узнает никогда. Нет, ей хотелось, чтобы всё хорошее было вечно, никогда не исчезало! И тогда она и все, кого она любит, тоже каким-то образом войдут в это хорошее, сохранившись в нём навек хотя бы потому, что любили это хорошее, а прикоснувшись к нему любовью, вдохнули в него смысл – и сами остались в нём. Она не умела это сформулировать, но если бы и умела, то вряд ли взрослые поняли бы, о каком именно бессмертии мечтает она.

Несколько месяцев мир на грани ядерной войны. А надо жить, ходить в школу, делать уроки, убирать квартиру.

Наконец, СССР демонтирует ракеты на Кубе, уводит бомбардировщики. Америка в ответ снимает с острова блокаду. К лету 1963-го державы мирятся окончательно. Пронесло!

На Салаватском нефтехимическом комбинате получили новую продукцию – полиэтилен. Полиэтиленовые мешки вместо хлебниц – революция! Хлеб непривычно долго не сохнет.

А дОма становится хуже, отчуждённее – новые дУхи не поселились здесь с новой мебелью. Аинька уезжает жить в Москву – к папиной сестре тёте Терезе. Мама одиноко властвует над новыми вещами. Царапина на полированной поверхности расценивается как убийство, как нанесение смертельной раны не мебели – маминым надеждам.

Чем быстрее тают надежды на новую жизнь, тем сильнее мама держится за свои «деревяшки» – будто ничего более ценного у неё не осталось. Папа – безбытный человек, привыкший обходиться малым, – презрительно называет это «вещизмом». Он маму не понимает. Демонстративно ограничивает своё жизненное пространство пружинной кроватью и дедовским письменным столом, который он отстоял. Тут теперь и живёт: если не спит, то сидит за столом спиной ко всем с ворохами газет и радиоприёмником. Остальное – царство мамы. «Ты этого

хотела? Владей». Но ведь мама хотела *не этого!* И папу жалко. Будто в своей квартире его заставили жить *не своей* жизнью, а он согласился, потому что слишком деликатный, – и ушёл в *параллельный мир*.

– Нет, папа, ты не деликатный! Ты жестокий! Кому нужна твоя подчёркнутая вежливость и всегда ровный голос?! За что ты наказываешь маму? За то, что жизнь не сложилась? Так и у неё не сложилась! Но она не предала тебя. Это ты сейчас её предаёшь. Лучше б вы поругались, чем жить так вежливо, как чужие.

– Разве я наказываю? Я просто устаю на работе, оттого молчаливый. Не придумывай, дочка, чего нет.

– Мама, за что ты наказываешь папу? Он столько жил в несвободе. Почему ты делаешь только то, что сама находишь нужным? Ему надо потакать – может, перестал бы он быть таким съёженным?

– Ему ничего не нужно.

– Для чего?! – кричит Соня. – Для чего вы жили?! Вас никто не обманывал! Вы обманули сами себя!

– Ради тебя, – плачет мама. – Ради тебя...

– Есть такое понятие, как долг, – вторит папа.

– Мне это не нужно! – кричит Соня. – Плевать я хотела на ваш долг! Это ловушка! Вы в неё сами себя загнали и загоняете меня! Теперь я тоже обязана отдавать вам с процентами то, что вы дали в долг мне?! Разве можно одолжить у кого-то жизнь? Или дать займы свою? Её можно только подарить, если сам того хочешь. Но тогда – какие к кому претензии? Счастливым можно быть только рядом со счастливыми людьми, а вы себя несчастными сделали – и меня такой хотите сделать! Я никогда не буду жить, как вы! Никогда! Это несвобода. Это ад.

Папа жесток. Но и Соня не лучше – так же бросает маму, заставляя ту мучиться покинутостью.

Правда, время от времени Соня пытается наладить отношения в доме.

– Мама, папа! Научите меня танцевать вальс!

Ставит пластинки, заставляет родителей кружиться парой, чтобы смотреть и учиться. Делает вид, что у неё не выходит, – и ей снова надо увидеть, как это делают они. Соня знает тайное воздействие музыки.

И в самом деле вальсовые мелодии трогают их сердца. Воспоминания пробегают по лицам, глаза оживают, становятся мягче. Крутится, крутится пластинка. Кружится, кружится мир, возвращая маму с папой в юность.

– Ещё! – кричит Соня. – Ещё! Какие вы красивые...

– Всё, Соня, всё!

– Нет, не всё. Теперь чарльстон. Это сейчас самый модный танец, а ведь и вы когда-то его танцевали. Учите меня! – и снова ставит пластинки.

Мама с папой смеются, как молодые. Соня старается закрепить успех:

– А теперь будем чай пить под музыку.

И они часами разговаривают по душам.

Эти вечера чудесны! Их эхо дрожит в следующих днях, отношения мамы с папой теплеют. Но всё возвращается на круги своя. Соня не может долго поддерживать затухающее пламя любви и мира в семье. Каждый сам кузнец своего счастья. Она может лишь чуть помочь поковать его, пока это в радость и не становится жертвой. Остальное – дело самих «кузнецов». А там: что сковали – то и получили. Не на кого жаловаться. Некого благодарить.

Заставлять кого-то быть благодарным – значит, обременять возвратом долга, навязанного «по доброте душевной». Может, самоискушение своей добротой – вообще одно из самых коварных искушений?!

Соня не хочет, чтоб ей кто-то был благодарен. Она за естественные отношения, никого ни к чему не обязывающие, когда всё – по доброй воле. Накладывать на кого-то обязательства – от лукавого. Настоящая любовь свободна и даёт свободу другим. Душу и время Соня будет только дарить – *по любви*. В долг не даст никому. Даже родителям.

Образ прикнопленной бабочки преследует Соню. Она боится попасться. Как зверь по незнакомой территории, она пробирается по жизни с обострённым чувством опасности, принохиваясь и приглядываясь – нет ли на пути ловушек.

Начинает воевать с мифотворчеством. Мифы – тоже ловушка. Провоцируют людей видеть не так, как *на самом деле*.

Соню называют бунтаркой. Но её бунты не агрессивны. Она ни на кого не нападает – лишь защищает своё пространство!

Вот горьковские Сокол и Уж. Соне не нравится высокомерный Сокол – подумаешь, он умеет летать и хвастается, унижает Ужа! Однако он не умеет ползать, как Уж, красиво струясь меж камней. Но героев «прикнопляют»: этот – хороший, этот – плохой. Это – светлый образ, это – тёмный. А хваленый Левша? Ведь испортил блоху – она прыгать перестала! Что хорошего?! А Мцыри? Конечно, это так возвышенно: стремиться «от келий душных и молитв – в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы»... Но доброго старика, ставшего ему отцом, обидел: «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?» – и бросил его, заявив, что «жил в плену». Неблагодарный!

Впрочем, не так ли сама Соня поступает с мамой, пытаясь разрушить монолитность мира глупых традиций и правил, в плену которых её держат?! И разрывая узы плена, увеличивая своё пространство, покушается на чужое:

– Мама, почему мы едим на некрасивой посуде? Вон за стеклом в серванте – кузнецовский фарфор, красивые бокалы...

Мама задыхается от кощунственного предложения пользоваться антиквариатом:

– Не смей даже трогать мои бокалы!

Мама – собственница. В ней неутолимая жажда – владеть. Но ведь так важно понять: *для чего* владеть? Чтобы разделять с кем-то и радоваться вместе? Или спрятать, чтобы просто *было*? Как прячет мама в сундуке шкуру лисы со стеклянными глазами. Кому от неё, спрятанной, польза и радость?

Бокалы «баккара» раньше трогали бабушка с бабушкой, а теперь *должны* трогать другие, ощущая призрачное тепло исчезнувших пальцев, и оставлять своё тепло для кого-то, кто спустя десятилетия будет так же сидеть за нарядным столом, прикасаясь к этим красивым вещам, в которых столько смысла! Беречь – не значит спрятать, прекратив их жизнь, превратив живое существование в мёртвое пребывание за стеклом. Делая это, мама сужает их смысл. А ведь каждая вещь – *перекрёсток между мирами*!

Соню удивляет неумение видеть эти перекрёстки, восхищаться ими, облегчать себе и другим перемещение по разным мирам с помощью вещей-«перекрёстков»... людей-«перекрёстков». Оскорбляет желание тут же присваивать то, что нравится... останавливать движение жизни.

Вот и её каждый хочет присвоить. Родные, соседи, друзья обижаются, если она не отвечает тем, чего ждут от неё, что предписано «правилами». Соне тесно в рамках условностей. Ведь интересно: что за ними?!

Даже так называемые «точные науки» – вовсе не точные: фигурируют лишь условными обозначениями, не раскрывая сути явлений. «Будем считать так – и basta!» – это называется «аксиома». Но Соня ни с кем не договаривалась так считать. Она хочет понять истоки: на чём основаны понятия, названные «базисными»? Но в учебнике читает: «Нельзя дать определение всем понятиям. Поэтому некоторые – основные – принимаются без определений». А потом прямая оказывается вовсе не прямой в неевклидовой геометрии! Основные понятия физики –

сила, масса, время, пространство, – через которые определяют всё другое, сами оказываются вовсе не определены. «Пространство выражает порядок сосуществования отдельных объектов, время – порядок смены явлений», а *как* они это выражают – ни слова! «Сила – мера механического действия на материальное тело других тел». Но что такое «действие»? В этих хвалёных точных науках любую неопределённость измеряют другой. Неопределённости множились. Ответов не было. А узнав, что самое базисное понятие – материя – «вопрос философский», Соня вовсе перестала заниматься точными науками, решив, что троечки с неё хватит.

И в жизни – как в пресловутых «точных» науках: «Так принято». Соне интересны *предметы и существа*, вступающие в отношения, а ей толкуют *только об отношениях*. Порочный круг! Выскочить бы из него в свободное от условностей беспредельное пространство!

Она инстинктивно чувствует, что сама – только часть каких-то общих закономерностей, часть чего-то большего. Но прежде, чем думать об этом большем, надо для начала понять, кто такая она? Какая *на самом деле*, а не в зеркалах родных, соседей, учителей, друзей?

Последние годы они с мамой ездят летом в Новую Каховку, маленький городок под Херсоном. Там теперь живёт сонина сестра с семьёй, сменив в романтическом порыве европейский Таллин на эту «дыру». Ирочкин муж, заразившись лихорадкой новостроек, приехал сюда на строительство машиностроительного завода, где и остался потом работать. Заядлый путешественник и рыбак, смастерил лодку – летом по выходным кружит по днепровским протокам с Соней. И школьные науки – даже знание того, что дважды два четыре! – ни к чему, когда тихо движешься на лодке и, стоя на носу, держишь в руке острогу. Глаз должен быть зорким, чтоб увидеть в лунном свете уснувшую за корягой щуку. Рука – твёрдой, чтоб не промахнуться. Удар острогой – сильным и точным, чтоб не спугнуть рыбу, а сделать добычей. И дважды два, а тем более другие премудрости совсем не при чём!

Соня хочет понять о вещах и их взаимосвязи нечто большее, чем пишут словари и говорят взрослые. Все эти ответственные люди ужасно безответственны! Их правила не стоят ломаного гроша!

– Да, – вежливо говорит она, а сама не может найти в их словах ничего, что нужно именно ей.

Для *её мира* нужны другие правила. И начинает изучать законы своего мира.

Но сначала надо разгадать главную загадку – загадку по имени Соня. Разгадав её, легче будет разгадывать другие.

Соня искала себя, а вместо себя находила платья, тетрадки, отражение в зеркале. Нет, она не в этом... она в картинах! в книгах! в музыке! в других временах... Соня бегала по выставкам, концертам. И не могла утолить жажду. И смертельно тосковала. Казалось: жизнь, *настоящая* жизнь, *её* жизнь проходит мимо.

Запоем писала стихи, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Но городской конкурс юных поэтов, куда была звана, проигнорировала – ей это было не надо. Стихи без её ведома читала на конкурсе подруга. Они вызвали рукоплескания, заняли первое место, были напечатаны в республиканской газете. Соню пригласили на встречу в Союз писателей. Мама дрожала от возбуждения – у дочки, ещё школьницы, начало определяться будущее! Надо «ловить момент»!

– Это роковое заблуждение! – кричала Соня. – Не момент я словлю – это он поймает меня! Я не поэт, не хочу быть поэтом. Это просто *ещё один язык*, на котором я разговариваю, когда не хватает слов обычного языка, – не более того! Не более того.

Она вовсе перестала слушать родителей, друзей, слыша иные голоса, иные зовы. Но что они говорили? Куда звали?

«Смеяться вслух, рыдать исподтишка, одно и ненавидя и любя. Как ночью спотыкаются о шкаф, я снова спотыкаюсь о себя», – писала Соня.

Казалось: обволакивает серый туман, хочет запеленать её, как мумию, зафиксировать в одном положении.

Мучила ностальгия по открытому пространству. Влекли *странствия как образ жизни*.

Потому и решила поступать на факультет журналистики в Москве. Но без трудового стажа на журфак не принимали.

– Поступишь на филологический, – отрезала мама.

И после окончания школы повезла в Москву. Соня сдала три экзамена на пятёрки, теща материнскую гордость. Но последний экзамен прогуляла. Стойко выдержала мамины упрёки в эгоизме и жестокости.

– Я же сказала: поступлю *только* на журфак. Не бойтесь, на шее сидеть не буду – пойду работать. Для журфака стаж требуется.

Вернувшись в Баку, устроилась пионервожатой в школу, стала пописывать статейки в газеты. Нашла друзей среди старшекласников, бродила с ними вечерами по городу, не избегала и прежних поклонников, запоем целовалась под душистыми кустами у моря – с разными. И почувствовала: это начинает нравиться, затягивая *не туда*.

Будто круг стал замыкаться. И нарисовались контуры дальнейшей жизни: найдёт среди друзей мужа, возьмут в штат какой-нибудь редакции, каждое утро дружелюбным «Как дела, Соня?» станут провожать на работу те же соседи, её дети выйдут играть в тот же двор, те же дурманящие запахи долгого бакинского лета будут сладко тревожить сердце, а море – беречь напоминанием о дальних странах и звать куда-то, куда она никогда не попадёт.

Скорее вырваться, пока не засосало окончательно!

Она так любит этот колдовской приманный город с морем, шумное солнечное государство своего двора, друзей – к некоторым особенно стремится душа и тоскует, если день не видишься. «Я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я»... *Любовь – тоже ловушка!* Скорее разомкнуть неотвратимо смыкающийся круг!

Бросила всё, поссорилась с родителями и друзьями, уехала к сестре в Новую Каховку, устроилась в школу такой же вожатой, чтобы добрать стаж для поступления на журфак. Полюбила малышей, ставила с ними спектакли и читала книжки. Дети и дирекция души в ней не чаяли. Новые поклонники ходили гурьбой. А она опять тосковала, трижды в день бегала к почтовому ящику, писала друзьям длинные письма.

И опять казалось: жизнь идёт где-то в другом месте...

...Тени от башен МГУшной высотки съёжились и подползли под самые ноги.

Вырвалась!

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

...или вляпалась?

В Большой Коммунистической аудитории представители деканата поздравляют первокурсников журфака.

– *Вы влились в передовые ряды бойцов идеологического фронта...*

Вот тебе-на! Шла по *своим* делам – и не заметила, как построили, а теперь будут учить строить других. Ать-два, левой! «Кто там шагает правой?» Э-э! Да это Соня! «Кто не с нами, тот против нас»... Опять ловушка: в рядах дружно марширующих сразу заметен идущий не в ногу.

Сонин фронт лежит в иной стороне. Что-то вроде девиза – слова любимой героини, Бегущей-по-волнам Фрэзи Грант: «Я повинуюсь только себе и знаю, чего хочу»<sup>31</sup>.

«Не скучно тебе на тёмной дороге? Я тороплюсь! Бегу!» – звенит голос Фрэзи. Бежать рядом с нею, торопиться к потерянным во мраке!

Но прежде Соня хочет подняться до своего имени, ощущая его как *назначение*: София – Мудрость. Вычитала в Каббале про Непознаваемое Начало: СОФ – Свет и его проявления во всём – СОФираты. Схватила за другие первоисточники в поисках упоминаний о космогонической роли светоносной Софии-Мудрости, исподволь как бы программируя себя и всё больше утверждаясь в дерзкой мысли, что назвали её правильно: смысл имени отвечал глубинному стремлению постичь замысел Творца и принять участие в его весёлой Игре – в процессе творения, который, по сониному убеждению, ещё продолжается.

Соня не придерживалась канонов ни одной из религий, хоть и крещена была в младенчестве. Но Создатель безоговорочно существовал для неё как осмысленная полнота видимых и невидимых миров, как *Автор и Контекст*, куда помещено всё, включая её. Исходя из чего сотрудничество с Ним представлялось весьма достойным занятием – вроде попыток прыгнуть выше собственной головы.

Обычно начинающие журналисты мечтают, чтоб их заметили главные редактора. Соня замахивалась на соавторство с Наиглавнейшим.

Первые строки подаренной ей ещё в детстве тётей Кысей Библии «В начале Бог сотворил небо и землю» сопровождались поясняющим вариантом: «В Премудрости сотворил Бог небо и землю». А в какой-то книге встретилось: «Богородица София – сводящая воедино противоположное». Выходит, Богородицей считается не только Мария, выносившая Иисуса? София – тоже родительница Бога, того, ветхозаветного, который Создатель! ПРАродительница, можно сказать. Значит, Премудрость – синоним бытийного начала, материнское лоно! «Ну и пожалуйста – называйте это Законом Природы, если хотите»...

Что-то счастливо дрожало в Соне при размышлениях о таких вещах и рвалось за пределы тела. Будто София-Мудрость что-то передала и ей вместе с именем.

Слегка стыдясь сентиментальности и самозванства, Соня тоже ощущала себя если не матерью, то няней всего сущего – так бережно и восхищённо любила она бескрайние небеса с птицами, звёздами, ветрами, и моря-реки с их потаённой жизнью, и богатую щедрую землю

---

<sup>31</sup> Фрэзи Грант – героиня романа А. Грина «Бегущая по волнам».

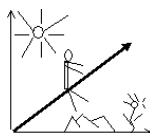
с её травой, цветами, деревьями, муравьями, зверушками, людьми, способными на чудесные изобретения вроде колеса, пирамид, бумаги, саксофона, самолёта, пенициллина. Она как бы обнимала всё это вместе одновременно – в каждую секунду! какими бы пустяками ни занималась! – постоянно соприкасаясь с неким Высшим Смыслом, объединяющим твари и предметы. И всё лучшее в них хотела сберечь в первозданной целостности, охранить от тлена, не мирясь с невозможностью этого. И мечтала найти «петушиное слово», возвращающее подпорченный мир к обновлённому Раю, который – *невидимый, но существующий!* – нужно возделывать вместе с миром во имя их нового соединения так, чтоб они подошли друг к другу. Не случайно библейский Бог заповедал возделывать Рай<sup>32</sup> – значит, предполагал возможность его совершенствования. И поручил это человеку. И ей в том числе. Понять бы только законы райской агротехники! По сониному разумению, люди – даже служители разных церквей – приносили в эту область много отсебятины.

Соня расстраивалась, если кто-то – а подчас она сама! – совершал дурацкие или злые поступки, порождая события, разрывающие «связь времён» и единство Небес с землёю. И пыталась устранить «поломку» по мере сил и понимания ситуации. Перед ней витал образ Софии, «сводящей воедино противоположное».

Эти внутренние послы делали её «воздушной» и в то же время устойчивой, чему способствовали здравый ум и чувство юмора. Поэтому она довольно легко решала свои и чужие проблемы – как бы из-за угла: слегка поднимаясь над ними и чуть отступая в сторону от той точки пространства и времени, где эти проблемы занимали слишком много места, не оставляя воздуха для вольного дыхания.

*– ...противостояние двух миров – социалистического и империалистического – усиливается. Вам предстоит встать на линии решающей схватки...*

Соня слушает вполуха бубнёт с кафедры, думает о своём и непроизвольно чертит в тетрадке другие линии, бессознательно выражая ощущение своего геометрического положения в пространстве:



Она и в самом деле жила в иной геометрии – как бы на векторе между горизонтальной и вертикальной осями земной и небесной координат. И свесив с него ножки, беспечно болтала ими, завлекая прохожих, порождая в них желание поболтать ножками рядом на её луче, растущем из земли и потому не пугающем высотой – не облако: не улетит, не растает. А захочешь – в любой момент можешь спуститься на привычную плоскость. Но этого редко кому хотелось. На сониной территории солнечно, дуют весёлые ласковые ветры, видно далеко. И кажется: всё получится, и получится хорошо. И получалось.

Каким-то образом – по-детски веря в безграничные возможности любого человека? – Соня запросто дотрагивалась до невидимого семечка, которое лежит внутри каждого, как в яблоке, пряча в себе раскидистое дерево с десятками плодов на ветвях, и может дать зелёный побег. С неподдельным любопытством – ой! что это там такое интересное? – Соня обращалась именно к этому семечку со свернувшимся внутри деревом, как бы побуждая его к ответу и давая импульс к росту. И почти каждого, с кем соприкасалась, «увеличивала», делая таким,

<sup>32</sup> Библия, Ветхий Завет, Бытие. Гл. 2, ст. 15.

каким тот *мог бы стать*. Не был. Но *мог бы*, потому что *был* таким *внутри* себя, не догадываясь об этом. Может, поэтому рядом с Соней было комфортно – к ней тянулись.

Ей по душе эта увлекательная работа садовника. Ищет она не фронта – просто большего сада.

«И в шесты день повелех моей Мудрости сотворить человека»...

А потом Мудрость – почти осязаемая фигура! – стала призывать род сотворённых человеков к себе, выполняя роль глашатая Божьего: «Премудрость возглашает на улице, на площадях... В местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою... взывает к сынам человеческим, становясь на возвышенных местах, при дороге, на распутьях»...<sup>33</sup> В общем, тоже в своём роде журналистикой-публицистикой занимается! Не случайно выбрала Соня эту профессию, хотя что-то подсказывает: профессия – только средство, только ступенька к какому-то *иному поприщу, иной работе, иному служению*.

Но для начала – прежде, чем возглашать на распутьях, – надо не просто постигнуть Премудрость Божью во всей полноте, а *соединиться* с нею, стать с ней – одно... чтобы не говорить «я постигла мудрость», стилистически отделяя себя, а ощущать всем существом: «я есть Мудрость». Или хотя бы её часть.

Знай многочисленные приятели Сони об этих мыслях, большинство из них испугалось бы серьёзности и нешуточных амбиций этой порывистой девочки с озорным независимым взглядом. Но она никого не пугала. Это было *интимное*. Хотя прорывалось.

В моду вошли ирония, слэнг, «телеграфный стиль» узанного недавно Папы Хэма и – вместе с облегчённым языком – облегчённое отношение ко всему. Хорошо усвоив этот стиль общения, обладая острым языком и природной смешливостью, Соня тем не менее внутренне тяготела к драме, замечая за пестротой слов и событий трагическую подоплёку жизни и застенчивую тоску ровесников по возвышенному, чего они смертельно стеснялись и, обнаружив у кого-то, готовы были обхихикать, чтоб их самих не заподозрили в крамольном пафосе. Иметь идеалы – значило признаться в неполноценности. Понятие «идеалы» вообще было опоганено, используя в набившем оскомину сочетании «коммунистические идеалы», в которые никто не верил, – даже те, кто говорил об этом с трибун. От агрессивного официоза молодёжь пряталась за иронию и юмор, так привыкнув издеваться над всем и вся, что другие идеалы – те, которые «вечные истины», – тоже обесценились, стали считаться старомодными, слюнявыми, даже безвкусными.

Но охотно подмечая нелепицы и не упуская случая посмеяться, Соня не позволяла себе ёрничать над тем, что было для неё важным. Она с демонстративным вызовом отстаивала «старомодные» пристрастия, умудряясь избегать высокопарности и не выглядеть глупо. Или терпеливо выслушивала издёвки над святым, будто принимая их, позволяя противной – и очень противной! – стороне поглумиться, пораспушать хвост, а потом ударяла наотмашь едкой иронией, выставляя в смешном свете тех, кто боялся быть уличённым в романтизме, на смену которому уверенно шли цинизм рука об руку с прагматизмом.

Ей не нравилось, что стало модным всё обхихикивать и уменьшать – даже то, что уменьшать было никак нельзя. Вещи значительные становились от этого невидными – терялись ориентиры. А лишаясь их и перспективы, искажалось пространство.

«Старо – о верности в разлуке. Рутинка – пистолет в висок. Хватаем мы синицу в руки, когда журавль высоко», – писала Соня, печалась: «Зачем мне синица? Ску-у-чно»...

И грустно иронизировала: «Наш юмор – шапка-невидимка! Естественность – палеолит! Мы красоту рвём, как картинку. Душа болит? Ничто болит»...

<sup>33</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Притчей Соломоновых. Гл. 8, ст. 1–3.

Соня обожала древних греков. С какой естественностью, не стесняясь высоких страстей, рвали они публично волосы и громко вопили: «А-а-а! О-о-о!!!» – временами ей казалось, что в ней самой сидит древний грек, и его вопли рвут изнутри душу. Однако грека приходилось скрывать.

За то же и Шекспира любила – за откровенные страсти.

Но больше всего восхищали библейские персонажи: их цельность, наивность вкупе со стойкостью, доверие к «голосам», готовность действовать, следуя зовам. И – тоже страсть, хотя иная. Страсть *духа*. С её особой простотой – *изначальной*.

Современные писатели пугали, запутывали: «Всё не так просто». Библейские персонажи говорили: «Всё не так просто. Всё ещё проще».

Эта светлая изначальная простота была и в тёмке – ветхозаветной Мудрости. Её слова волновали, будили что-то в глубине Сони, бродили в ней смутными тенями воспоминаний: «Господь имел меня началом пути Своего... от века я помазана, от начала, прежде бытия земли... я родилась, когда не существовали бездны... прежде, нежели водружены были горы. Когда Он ещё не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда Он уготовлял Небеса, я была там. Была при Нём художницею... радостью всякий день, веселясь пред Его лицом... веселясь и на земном кругу Его... и радость моя была с сынами человеческими... Дети, будьте мудры: не отступайте от Него»...<sup>34</sup>

Сначала библейская Мудрость на площадях вещала. Потом «построила дом, растворила вино, приготовила трапезу и послала слуг провозгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись сюда!»<sup>35</sup> Вот только по простодушию своему мудрому ошибочку допустила: разве кто-то добровольно признает себя неразумным?!

...Соня огляделась. Кто-то легкомысленно играет в «крестики-нолики», кто-то уткнулся в книгу на коленях (те и другие явно нормальные! – шевельнулась тёплая симпатия), но многие примеряют роль солдат, которых через пять актов ждут генеральские погоны.

«Идут бараны. Бьют в барабаны. И кожу на них дают сами бараны»... Вот и ей предлагают бить в барабаны из её собственной кожи... ладно бы, из собственной, а то и ближних предложат освежевать!

– ...семикилометровыми шагами наша страна движется вперёд...

Соня ухмыляется, представив многочисленные стада баранов в узком коридоре из кривых зеркал, ведущем на бойню, – в зеркалах отражались львы с развевающимися гривами. Так видели себя бараны... Батюшки! Королевство кривых зеркал! Да ведь одноимённый фильм – иносказание! Предупреждение: возрождается Кощеево царство!

А ведь признаки были. Хотя бы недавний суд над литераторами Даниэлем и Синявским, когда преступлением сочли слова. А до этого суд над поэтом Иосифом Бродским и ссылка за то, что признан был тунеядцем: сочинительство – не общественно-полезный труд.

Это Бродский-то тунеядец? Он, написавший: «...мира и гОря мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты. Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета». А в конце – пронзительное: «...и значит, остались только иллюзия и дорога»...

Осмелился писать не о ясной дороге к светлому будущему – коммунизму под руководством КПСС, а о какой-то эфемерной дороге. К собственной душе? К вечным универсальным истинам?

---

<sup>34</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Притчей Соломоновых. Гл. 8, ст. 22–33.

<sup>35</sup> Библия, Ветхий Завет, Книга Притчей Соломоновых. Гл. 9, ст. 2–4.

«Наш человек» не должен сомневаться. Поэта осудили за сомнения и социальный пессимизм.

Соня тоже грешит «ненужными» вопросами. Неужели в самом деле всё – иллюзия? Только дорога не иллюзорна? Смысл – в движении? Вон и китайское «Дао» означает «Путь»... религия Пути.

Не от корня ли «дОрог» слово «дорога» – самое дорогое, что может быть у человека?

Но куда идти? Как найти *правильный* путь? Идёшь себе по убегающей вдаль дороге – и вдруг натыкаешься на своё отражение в зеркале: оказывается, и дорога отражалась в нём, притворяясь дальней, а была всего-навсего тупиком с зеркалом в конце пути!

Впрочем, кажется, многих это устраивает – придти к собственному отражению.

«Объять весь мир, волнуясь и любя. И в детях, и в друзьях своих продлиться. И в зеркале увидеть не себя – своих любимых значимые лица», – как бы сами собой складывались протестные рифмы.

Есть ли она вообще – *правильная* дорога? И что такое *правильная*? Дорого бы Соня заплатила за ответ на этот вопрос. Но, похоже, сначала придётся платить, как за kota в мешке, – и только когда дашь *правильную цену*, тогда ответ сам явится... Значит, всё дело – в *правильной цене*? Но как её определить?

Может быть, главное – держать *направление*, ощущаемое как *правильное*? Не терять из виду его *самую дальнюю и высокую точку*?

Это как при разрезании ткани или большого листа бумаги ножницами: ровно разрезать по прямой не получится, если смотреть туда, где действует ножницами рука. Взгляд надо направить не под нос, а вперёд – на конечную точку будущего разреза. Причём линия выйдет ровнее, если рука с ножницами движется слегка вверх. Житейский опыт учит: работаешь *здесь и сейчас*, но взгляд устремляешь *вперёд и выше* – тогда как бы *сама* решается любая сиюминутная задача.

Но почему Данте поместил в ад Фаринату, одержимого видениями будущего?

Наверное, потому что тот пытался приблизиться не к вечности – по вертикали, а всего лишь к будущему – по горизонтали. И был равнодушен к настоящему. А ведь только оно имеет смысл и реальную цену – здесь и сейчас дышит любовь, воплощаются намерения, совершаются выбор и работа с обязанностями. Через ворота живого тёплого «сегодня» проникает в мгновения вечность, и только через «сегодня» можно проникнуть в неё, потому что она – вовсе не длящееся бесконечно время, а иное качество бытия, иные его пределы, иное их насыщение, иной свет, иной аромат.

Разве можно наполнить всем этим «завтра», всегда не существующее для человека?! Оно само этим наполнится, если вечностью пронизано деятельное «сегодня» – единственная точка, где время может стать больше себя самого.

Только сейчас – каждый раз только сейчас! – можно расширить мгновение любовью, творчеством, восторгом, молитвой, делая его бессмертным, а вечность свернуть в пульсирующий энергией миг. И тогда оживут, одухотворятся напоённые ею «вчера» и «завтра», вместились в «сегодня»... «здесь и сейчас» станут «везде и всегда». Отдавать свои помыслы будущему или вечности – сколь разные это вещи! Первое – дьявольская подмена.

Вот, наверное, почему попал Фарината в ад – за то, что предпочёл вечности время...

– ...вы должны приблизить светлое коммунистическое будущее...

Чур, чур меня!

– ...отныне ваше главное оружие – правда. Это оружие обоюдоострое. Вам надо научиться безошибочно различать, где наша правда – правда исторического момента, основанная на коммунистических принципах, – и где не наша, которая мимикрирует под правду и, прикрываясь пресловутой свободой слова, пытается размыть идейные основы советского общества...

Где-то она уже это слышала. Нет, не по радио. Раньше. Когда? Не вспомнить. Только это были какие-то знаковые слова. Ключевые... вроде «Сим-Сим, откройся!»... ключик повернулся – и распахнулась внутрь живота дверка в пространство давно забытого мятного страха. Что-то нехорошее, опасное связано в памяти со словами про две правды. Ах да, Борислав! Серый, пришедший за папой с этой «правдой исторического момента». Серый тоже был боец. Нет, не боец – марионетка! Партия была его рулевой... рулевыми были скудные чужие «ум, честь и совесть»... за неимением собственных. Теперь Серый и его идеологи состарились – и Соня должна заменить кого-то из них в обновляющихся рядах бойцов, которые всего-навсего куклы в руках циничных кукловодов?

Дура, дура! Как она сразу не поняла, куда лезет?! Лучше б не противилась родителям и поступила на филфак. Стала бы скромной учительницей, рассказывала бы детям про суффиксы, в которых нет идеологии.

Нет, это была бы *не её* жизнь.

Значит, тогда это испытание – найдёт ли в противовес их мертвящей тупиковой идеологии животворящую путеводную Идею? Взамен разных правд – Истину? Сумеет ли достойно выбраться из лабиринта кривых зеркал? Куда выберется? Не съест ли Минотавр? Может, зря она сюда сунулась?

«Я от бабушки ушёл, я от бабушки ушёл»... от родителей ушёл... от соседей ушёл... от друзей ушёл... Тоже мне, свободолюбивый колобок! Пути рабства разорвал, от любящих сбежал – к лисе прикатил...

– ...вы сумели доказать, что вы лучшие, – и вас выбрали по конкурсу из сотен ровесников. Вы должны оправдать доверие...

«Как хорошо ты поёшь, Колобок! Ближе, ближе»... Ам! – и нет умника. Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок... Ой, не усвоила она урока!

Немудрено. В Баку жили без идеологии – просто житейскими делами. И языки у всех были весьма развязаны. Потому Соня не привыкла думать о какой бы то ни было идеологии всерьёз несмотря на передовицы в газетах, трескучую фразеологию в телевизоре, бурные аплодисменты на массовых ритуальных сборищах вроде пленумов ЦК КПСС и съездов, «специальные» остекленевшие в деланном фанатизме глаза, дружно взмывающие вверх в единомгласном голосовании руки мордатых дядек в серых и чёрных пиджаках, застёгнутых на все пуговицы. Так и казалось: пуговицы оторвутся, пиджак треснет – и «король останется голым». А ещё это напоминало танец маленьких лебедей. Только вместо ног те же ритмичные пируэты выделявали руки. Это было забавно. Казалось шаманским камланием. Чужой и глупой игрой. Смешной поведенческой одеждой официальных лиц – вроде парика с мантией. Не более того. К этому так же относились и окружающие, разморенные бакинской жарой, бытовыми трудностями и собственными не менее сложными ритуальными отношениями с родственниками, соседями, сослуживцами.

То ли богатая природа и весёлое солнце южных окраин СССР не располагали к официозу. То ли горячий темперамент выталкивал людей «за рамки» – и потому границы дозволенного были здесь шире. То ли чувственность поворачивала бакинцев от пустых выхолощенных

разговоров к живой повседневной жизни, наполненной значимыми будничными пустяками, составляющими незыблемую основу шумного кавказского бытия.

«Политика» живо интересовала бакинцев не как политика, а как кино – про людей, а не про идеи. Это «кино» разнообразило жизнь, давало *иллюзию причастности* к большому миру, к движениям истории и возможность посудачить о глобальном, ощущая при этом свою значимость. Но на самом деле «политика» была просто любопытными событиями за окном. К ним приноравливались, как к плохой погоде, если они приносили дискомфорт, и радовались, как солнышку, если они добавляли в быт удобств и давали повод для пересудов. А чаще жизнь страны и тем более остального мира не касалась бакинцев напрямую. Как не касались какие-то там выступления у памятника Пушкину в столице, бунтарская проза и поэзия Аксёнова, Гладилина, Евтушенко, языковые эксперименты Вознесенского, появившиеся в книжных магазинах после многолетнего забвения стихи Цветаевой и Ахматовой. Восхищались не ими – собственной «приобщённостью». Тем, что идут «в ногу со временем». Знаковыми именами модно было козырять. Они тоже – «кино», дающее пищу для разговоров, в лучшем случае – для самовыражения, но не для осмысления времени, культуры и себя в потоке истории. Сегодняшний день с вином и шашлыком (если удавалось достать мяса), с изобильной роднёй за обеденным столом был куда важнее идей и умных книг, вместе взятых, всех генералиссимусов и секретарей ЦК КПСС, всех поэтов и философов, всех войн и революций. И даже важнее светлого будущего человечества. Сосед – роднее человечества и заслуживал большего интереса. А остальной мир ощущался декорацией, которую время от времени меняли неизвестные режиссёры, чтоб не скучно жилось и чтобы было о чём порассуждать с чувством глубокого удовлетворения своим образом жизни с установкой на семейно-дворовый патриотизм. Самую основу их жизни перемены не трогали.

Потому проглядели поворот от весёлой «оттепели» к суровым идеологическим «заморозкам». Ну, сменил Хрущёва Брежнев. Ну, не совсем красиво. Но это «их» дела – дворцовые. Внизу своих дел хватает! «Тётя Эва, мама прислала сказать, что она вам очередь за молоком заняла. Идите скорей, уже привезли», «Марго, как хаш готовишь? Говорят, у тебя вкусно выходит»...

Соня любила и уважала эту устойчивую основу традиционности, когда, что бы ни случилось, весной засаливали молодые виноградные листья для будущей долмы, летом варили варенья, осенью мариновали чеснок с перцем и баклажанами, а зимой ходили друг к другу в гости и всё это ели за неспешными разговорами о житье-бытье.

Так жили даже те, кто был причастен к идеологии: местные журналисты и писатели, партийные работники. Жизнь на плоскости ограниченного житейскими интересами пяточка. Пятачок был довольно широким. Существование на нём – весьма вольным. Однако Соне не хватало вертикальной оси координат. Её манили иные горизонты.

«Нет, твой голос нехорош! Слишком тихо ты поёшь!» – и убежал глупый мышонок к кошке... Это она – глупый мышонок!

*– ...факты – это ещё не правда. Правда – это факты, организованные в систему. Вам предстоит научиться правильному подбору фактов, подтверждающих социалистические ценности, выстраиванию их в тенденцию...*

Кажется, всё-таки вляпалась!

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Пожарные оказались бравыми, но весьма прожорливыми ребятами. Картинно подкатив с воем сирен на двух глянцево-красных машинах к общежитию, объяснили перепуганной вахтёрше, что у них учения, – и стали лезть по раздвижным лестницам в распахнутые окна, за которыми тут же начиналась весёлая кутерьма. Внизу стояла возбуждённая Соня и указывала окна, выбирая женские комнаты, где жили студентки, которые были не прочь расширить круг знакомств с мужскими особями.

Днём она проходила мимо пожарной части. На картонной коробке пожарные резались в домино. Знакомилась Соня мгновенно. Замедлив шаг и обратив насмешливо прищуренные глаза на четвёрку самых молодых и симпатичных, бросила:

– Что, нет пожаров? А как насчёт пожара сердца? Вон в общежитии, в гуманитарном корпусе студгородка МГУ девушки скучают. Им жизнь изучать надо: они будущие журналистки. Вы им про пожары расскажете, про геройские подвиги. Вас за это напоят, накормят, под гитару песни споют. И может быть, если будете себя хорошо вести, спать уложат...

– А своих парней там нет, что ли?

– Есть, но девушек больше. Да и свои приелись уже. Чего бы вам счастья не попытать?

– Так не впустят же! В студгородке, наверное, строго...

– А учения у вас бывают?

– Да.

– Так устройте учения! – и тут же набросала сценарий возможного проникновения к девушкам.

Воображение огнеупорных пожарных разгоралось медленно:

– Да? Но учения заранее планируют...

– Ну и запланируйте. Семейных здесь на случай всамделишного пожара оставьте, а холостых – к дамам. Приключение – не пошлое знакомство на улице! Сирена, блестящие машины... из них боги в сверкающих касках выскакивают... набухает под давлением толстый шланг, как фаллический символ...

– Как что?

– ...а из шланга вместо струй воды – розы. Краси-и-иво!

– А тебе что с того? Тоже журналистка? Публикуешься?

– Да. Я написала книгу «Идиот». Теперь изучаю тему глубже...

– Издеваешься? – миролюбиво сказал один из молодых-симпатичных. – Книгу «Идиот» написал писатель Достоевский...

– Молодец, начитанный, – также миролюбиво отозвалась Соня. – А ещё он написал книгу «Игрок». Или это я написала? В общем, я играю. Понял? И предлагаю поиграть вместе. А то жизнь проходит. У нас – учёба, у вас – пожары. Или дурацкое домино. А не хотите – к жокеям на ипподром пойду. Тоже интересно поближе познакомиться.

– Насколько поближе? – захотел выяснить на практике толстый усатый командир пожарных, пытаясь облапить Соню.

– Я не по этой части, – беззлобно выпросталась Соня из надвигающихся объятий. – Мне просто интересно. А спать, если вы об этом, я одна люблю. Ладно, чао! Вот номер моей комнаты и телефон этажа. Решитесь – позвоните.

Уж как там пожарные исхитрились, Соня не знала, но вечером они позвонили, вызвали к назначенному часу на улицу перед въездом в студгородок, посадили в головную машину, чтоб показала дорогу к нужному корпусу, включили сирены – и театральное проникновение к дамам состоялось. Пожарных тут же разобрали по комнатам, откуда вскоре стали доноситься шумы бурного гулеванья.

Знаток Достоевского и его усатый командир приглянулись сониным соседкам по комнате: беленькой юной Верочке из Тулы и тридцатилетней хохлушке Милане – сплошные бёдра, исторгающие, казалось, прямо из сокровенных своих глубин богатый «нутряной» голос, которым Милана бесподобно пела украинские песни. От волнующего контральто и форм Миланы командир захмелел с первой рюмки и, начав с галантного поцелуя ладошки, стал перемещать усы выше по полной руке, пока не разместил их в ямочке на миланиной округлой шее, вздрагивающей от мощных струй низких нот. И затих. «На долины туман, на долины туман упав», – самозабвенно пела Милана щемящую украинскую песню. Розовощёкий знаток Достоевского сидел в обнимку с замершей Верочкой, застенчиво двигая пятернёй-лодочкой по её плечам, пытаясь как бы невзначай подплыть к груди, а второй рукой безостановочно кидал в рот еду, включая скромные месячные запасы всей комнаты, которые хранились тут же, на краю стола под полотенчиком.

– Ну и что мы теперь есть будем? Их цветы, что ли? – тихо спросила Соню четвёртая их товарка Катя, которая припозднилась и теперь с ужасом смотрела на обгрызанные шкурки от НЗэшного шмата сала и смятый пустой кулёк, где ещё утром было два кило пряников. – Ты этих живоглотов привела? Забыла, как тебе наkostenяли за дрессировщиков с их наглými обезьянами?!

– Живы будем – не помрём, – отмахнулась Соня и пошла бродить по общежитию в надежде застать что-то более интересное, чем обнимающиеся парочки.

Впрочем, чего ещё она хотела? Вроде бы для этого всё затевала. Но кураж пропал. Пожарные оказались скучными. Дамы слишком быстро сдались. Затеянный спектакль показался нелепым.

...Длинный, как кишка, полутёмный коридор вздрагивает звуками – будто идёшь по музыкальной школе. Обрывки ритмов складываются в странную мелодию. Распахнуть любую дверь, чтобы в лёгкие ворвался сигаретный дым, в уши – музыка, чтобы чьи-то руки затормошили, подхватили, обняли в танце, и чьё-то горячее дыхание с лёгким запахом алкоголя заскользило бы по лицу, защекотало шею... Нет, не хочется!

«Проходит жизнь. Проходит жизнь. Как ветерок по полю ржи. Проходит явь. Проходит сон. Любовь проходит. Проходит всё. Но я люблю. Я люблю! Я люблю!!!» – надрывается кто-то под гитару.

«Томбэ ля нэжэ...» – сладко грустит за другой дверью Адамо с пластинки. Через пару шагов обволакивает низкое щемящее «Йестэдэй...», двигается вместе с Соней, переходит в нежное девичье сопрано, тоскующее о том, что «нельзя рябине к дубу перебраться», а за дверью напротив страдает баритон: «Чому я нэ сокил? Чому нэ летаю?» – будто это общежитие не будущих филологов и журналистов, а музыкантов и певцов.

Соня идёт по пустынным коридорам.

Мимо. Мимо. «Мекки и Рима мимо»...

Странные образы входят в Соню, становятся ею.

В шуршащем кринолине скользит она по зеркальному паркету мимо залов, где кружатся в танце белые кавалеры и розовые дамы. Минуту назад она сама плыла розовой дамой по залу, и сердце хотело выпрыгнуть в горячие руки кавалера, которые промелькивали в жаркой близости от её ланит, касаясь то талии, то плеча, и взблескивало золото на белых одеждах кавалера, наводя дурман, и взгляд его проникал в ложбинку между оголёнными подушечками, выпирающими из декольте, и будто вытаскивал сокровенное из Сони, вытаскивал, так что она теряла волю, и мысли уже не нужны были, превращаясь в томящее ощущение: «Всё равно! Всё – всё равно. Пусть будет, что будет. Были и есть только мужчина и женщина. И эти бело-розовые

одежды, и золотые всполохи блёсток и света, и волны музыки, кидающие друг к другу, – всё только для того, чтобы мужчина и женщина соединились на миг». Но опять настаивает, придавливая: «Всё проходит. И никто не в силах ничего удержать».

«Йестэдэй» – «вчера»...

И пальцы, став на мгновение пальцами четырёхлетней девочки, вспоминают стремящуюся сквозь них шероховатость ускользающего песка.

Волшебство кончается. Белые с золотыми вспышками кавалеры и розовые дамы съеживаются, тускнеют. Уже не дамы с кавалерами кружатся по сверкающему залу, а маленькие серые и чёрные точки хаотично петляют, то сливаясь, то разбегаясь, – это похоже на броуновское движение частиц в мерцающей капле воды, которое Соня наблюдала когда-то на уроке сквозь сильный микроскоп и которое потрясло её фатальной нелепостью случайных соединений и отгалкиваний... щемящей значительностью, заключённой в полном отсутствии значительности и смысла.

И вот уже не пенный кринолин на Соне, и не серая невзрачная оболочка безымянной частицы, вовлечённой в броуновский водоворот, а коричневое платье из рогожи, неровно подоткнутое под верёвочный пояс, – она маркитантка, тяжело шагает за повозкой под тусклыми звёздами мимо отдыхающих солдат, которые похожи на брошенные вповалку мешки. Уродливые грубые лица, вырванные из темноты всполохами костров, – будто с картин Босха. Кто-то храпит и рыгает во сне, кто-то выводит унылую мелодию на губной гармошке, кто-то тискает увязавшихся за армией селянок. Из-под тёмных деревьев – всплески смеха, возня, сопенье. Живые твари, случайно появившиеся на свет, случайно оказавшиеся в той или иной точке времени и пространства и готовые умереть завтра, – все хотят одного: кушать, совокупляться и в промежутках между этим спать. И маркитантка с её кашами и похлебками ничем не лучше визжащих в любовном экстазе селянок и похотливых солдат. И белые кавалеры с розовыми дамами не лучше их всех. И всех жалко. И себя тоже. «Супу! Кому супу?» – устало шагает маркитантка за повозкой с котлами...

Мимо. Мимо. «Мира и гОря мимо, мимо Мекки и Рима»...

Куда? Для чего всё? Есть ли какой-то смысл в этих картинках, похожих на сновидения?

...В полумраке холла тихо плачет вахтёрша тётя Хеля, Рахель Самуиловна:

– И мои Сенечка с Норочкой могли бы сегодня так же веселиться. И учились бы не хуже других. Сенечка такой способный был! На скрипочке играл. А Норочка танцевать любила. Я ей платьице с оборочками сшила – эти оборочки так смешно прыгали, будто тоже танцевали. Ни Норочки не осталось, ни платьица – снять перед ямой заставили.

– Какой ямой, тётя Хеля? – у Сони холодеет сердце.

Тётя Хеля будто не слышит:

– Это платьице я потом на зинаидиной дочке увидела. На коленях перед Зинаидой ползала: «Отдай, – говорю, – платьице». А она: «Скажи спасибо, что сама жива осталась! Бог твой еврейский тебя, наверное, сильно любит – шепнул, чтоб ты в тот день на рынок в город подалась». «Нет, – отвечаю. – Любил бы, с детьми бы не разлучил». Колечко с пальца снимаю: «На, – говорю, – колечко. Ты на него всегда заглядывалась. Отдай платьице. Колечко дороже платьица». Зинаида колечко взяла, а платьица не отдала. «Всему-то вы, жида, счёт знаете – что дороже, что дешевле. А колечко возьму, – говорит, – за благородство моё: что совет даю убратся отсюда поскорее, пока я тебя ни немцам, ни полициям не выдала. Я в благородстве понимаю. Не то, что Гапка. Твои жиденята ведь от ямы в лес уползли – и к Гапке: откройте, мол, тётя Гапа. А Гапка...»

Тётя Хеля шумно сморкается, нервно крошит штрудель, из которого сыпется изюм, и долго молчит, глядя в пространство, будто силится понять странные повороты души человеческой, которая даже вблизи смерти мелочно суетится и хочет что-то урвать.

– Ой-вэй! Разве так можно?! Наверное, можно, раз так было и есть. Слаб человек...

И сникает, сникает перед неизбежностью предательства, бессмысленностью жизни, случайностью гибели. И принимает это, не понимая саму себя: как можно принять *такое*?! И чувствует себя предательницей, что живёт и даже ест штрудели.

– Что тут сделаешь? У Гапки своих трое сынов было. Я их Гапке перед войной спасла, я детский врач была. Даже ночами приходила уколы от дифтерита делать. Месяц выхаживала. Свой бульон из своих курочек носила, не жалела резать. Штрудели с Сенечкой и Норочкой им посылала. Вот почему дети мои к ней побежали... Я потом никогда уже педиатром не работала – детей не могла видеть, плакала...

– А что Гапка? – тихо спрашивает Соня.

– Дети мои к ней стучатся. Голенькие. Вокруг зима. От ямы очереди автоматные. Сюда сотни евреев с ближних местечек фашисты свезли. Раздеться заставили. Вокруг свои же соседи-украинцы их одежду делят. Друг с другом ругаются, когда что-то поделить не могут. Время трудное было, вещи нелегко доставались. Если уж всё равно людей убивают, не пропадать же добру! Шум, полицаи матерятся, немцы гавкают. А Гапкин дом – вдали, у леса. Она ребят увидела, в окно высунулась – и в крик, чтоб выстрелы перекричать: «Панэ полицаи! Панэ полицаи! До менэ жиденята прибежали! Сбегли от вас жиденята». Докричалась. Убили моих деточек на её пороге. Так Зинаида рассказала... А я всё думаю: зачем Гапка полицаев звала? Могла бы просто дверь не открыть, затаиться. Дети в лес бы ушли, на партизан бы наткнулись. Конечно, воспаление лёгких схватили бы, раздетые, но партизаны, может, их бы вылечили. Или так и лучше, что сразу? Долго не мучились. Двадцать три года после того живу и всё прикидываю, как лучше было бы... Зачем живу?

Соня гладит тётю Хелю по голове:

– Вы хорошая, тётя Хеля. Вот зачем живёте. Чтоб от вашей доброты нам теплее делалось. Ведь мы все здесь в общежитии без родных, как сироты. А вы нам как мама...

Соня лукавит: тётя Хеля могла уморить нотациями, но была в самом деле добра, – и Соне хочется поддержать её, утвердить в осмысленности существования. Это завтра Соня будет ускользать от тётихелиных приставаний, а сейчас любит её больше всех на свете и готова всё для неё сделать. Соня гладит тётю Хелю. Недавние розовые фантазии кажутся стыдными, надуманными, пустыми.

Глаза влажнеют, но Соня злится на подступившие слёзы, – они тоже придуманные, невсамделишные: так плачут в театре, когда страсть актёров и яркая игра трогают душу. А тут не игра, тут жизнь: сердце человека разрывается на её глазах... разрывается – и разорваться никак не может. Какое право имеет она, благополучная, плакать о том, чего не пережила? Но становится ещё стыдней, когда вдруг понимает, что плачет не об убиенных, а *о себе*, отождествив себя с детьми перед закрытой дверью и с теми, кто стоял у ямы в минуту от смерти. Длится, длится минута, вбирая в себя тоскливое серое небо и голые ветви на его фоне, которые сейчас исчезнут, как исчезнет всё, что было... будто не было. Соня цепенеет от животного ужаса. И слышит истошный детский крик петуха. И видит остановившийся вместе с выстрелом дым из труб, птицу, замершую в полёте...

Соня ловит себя на мысли, что наслаждается богатством собственных переживаний, примеряя чужие судьбы и радуясь в глубине души, что это всё – не с ней. Она просто *использует* рассказ тётю Хели, чтобы полакомиться остротой ощущений, наполнить себя чем-то, из чего потом должно вылупиться что-то – она сама не знает, *что*. А пока она – полая, вбирает в себя

шумы извне! Другие обманываются впечатлением её самости, а она всего лишь *реакция, отражение*.

Возвращается в тела тех, кто стоит у расстрельной ямы. Услужливо возникает оправдательная мысль: может, им было бы легче, знай они, что кто-то незнакомый будет *так* чувствовать и плакать о них, *как бы* становясь ими. Но опять пронзает жгучий стыд – за это «как бы» и за то, что на самом деле эгоистично смотрит лишь в собственную глубину.

И тонет, тонет в бездонной печали фатального человеческого одиночества, увлекаемая в пучину грузом открывшегося вдруг понимания, что невозможно полностью перетечь в другого, полностью отрешиться от себя, – каждый заперт в границах своего существа, своего опыта.

Клетка – неделимая первичная основа всего живого. И то, где запирают, изолируют от других.

Лишь на время – рукой, взглядом, чувством – удаётся соприкоснуться с теми, кто рядом.

Жизнь по касательной. Мимо... мимо... «гОря и мира мимо». Тьфу, опять литературщина лезет. Стыдно! Как стыдно за всё! А главное, за то, что эти мысли зачем-то *важны* для её собственной жизни. *Полезны*. И как бы *само* думается, что их надо запомнить, что они *пригодятся*.

Какая она корыстная тварь! Как любит себя! Как интересна сама себе, ловко делая кормом для души и разума чужое горе, чужие переживания, чужую жизнь и даже чужую смерть... Хорошо, что никто не может прочесть её мыслей!

А они текут себе параллельно тётихелиному скорбному рассказу, складываясь в слова, а те – в урок приятия того, что пресловутое единение душ даже в моменты сопереживания и любви – миф, мечта, и не стоит ожидать этого никогда ни от кого, потому что это *невозможно*, ибо каждый для другого (и она, Соня) – *отдельный*, и являет собой *лишь факт реальности* среди множества иных фактов. Не более того! Надо согласиться с ролью всего лишь «факта реальности». И быть вполне удовлетворённой, если «факт» в твоём лице кого-то порадовал, чуть-чуть повлиял на течение событий, породил что-то хорошее, послужил яблоком для какого-нибудь Ньютона.

В этот момент Соня навсегда избавляется от пустых ожиданий и претензий. Её отношения с людьми станут теперь проще. Каждый сам по себе – и уже за то стоит быть благодарным, если кто-то заинтересуется ею как «фактом реальности», захочет на время быть рядом, разделить с нею отрезок пути. И не обижаться, если на очередном повороте попутчик свернёт в сторону – это *нормально*. Если принять *отдельность* людей и *дистанцию между ними* – принять не разумом, а сердцевинной души! – то не станешь попусту терзать ни себя, ни ближних, упрямо желая полного единения, ибо это *невозможно*. И Соня в последний раз грустит об этом.

Тётя Хеля благодарна Соне за слёзы, не подозревая, что вызваны они *посторонними* мыслями:

– Ты хорошая девочка. Ласковая. На мою Норочку похожа. Хочешь штруделя? По старой памяти пеку. Для кого? Ем сама и плачу. Ведь и мужа моего на войне убили. Всю родню по расстрельным ямам Украины и Белоруссии позакапывали. А потом ямы те засыпали, стадионы и дороги на них построили. Нет могил – будто и людей, что в них лежат, не было. Теперь по еврейским косточкам футболисты бегают, машины ездят. Никак в ум не возьму: почему там не памятники, не вечный огонь? Или еврейские косточки того не стоят? Или забыть скорей хотели, что хвалёная дружба народов трещину дала, а трещина в эти страшные рвы обратилась? Ведь свои же евреев продавали! Украинцы, белорусы, литовцы, эстонцы, русские. А ведь евреи их детей учили-лечили, часы чинили, мужчинам костюмы и сапоги шили, жёнам – платья красивые и туфли-лодочки, лёгкие, как пушинка, на свадьбах музыку играли, драк не затевали, водку не пили, чужого не брали... Ой-вэй!

*Посторонние* мысли лезут и лезут в голову. Возник вдруг и стал проговариваться в уме обрывок сказки, слышанной когда-то в Тасееве:... встретила добрых молодцев Баба Яга. Накормила-напоила, в бане попарила, спать уложила. А поутру стала спрашивать, чего тем надобно. «Невест ищем». «У меня есть дочери, – говорит Баба Яга. – Может, кто из них приглянется». Вывела дочерей, стол накрыла – пируйте! И в лес пошла травы собирать. Вернулась: на колах – дочерины головы, а добрых молодцев и след простыл – поехали дальше счастья искать...

– Почему они Бабе Яге злом за добро отплатили?

– Так ведь Баба Яга же, – удивлялся рассказчик непонятливости маленькой Сони.

– Но она же их поила-кормила, в бане парила, дочерей в невесты предлагала!

– Так ведь всё равно – Баба Яга...

Получалось: что ни сделай Баба Яга, – попользоваться можно, но ничто благодарности не достойно. На всё ей и детям её один ответ: смерть! За то, что Баба Яга. *Чужая*. А добрые молодцы, хоть часто совсем не добрыми оказывались, – всегда правы, всегда герои. И уверены, что после *таких* «геройств» можно счастье найти... что заслужили его. И сами в этом убеждены, и те, кто про них рассказывает. Потому что добрые молодцы – *свои*.

У нас – разведчик. У них – шпион...

«Бей жидов, спасай Россию!» – еврей испокон века был Бабой Ягой.

Были и другие «нечистые». В 1917-м добрые молодцы спасали страну от таких, как сонин дедушка. В 30-х – от таких, как её папа. В войну руководство СССР назначило нечистой силой крымских татар, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, карачаевцев, турок-месхетинцев...

В разные времена нечистой силой назначали разных – по социальному признаку, по религиозному, по национальному. Потом сменяли гнев на милость – тех, кого не успели расстрелять и сгноить в лагерях, снова принимали в семью братских народов, забыв извиниться.

А тётя Хеля говорит, говорит, будто Баба Яга из сказки жалуется и никак понять чего-то не может:

– Не осталось в стране еврейских местечек. Мы про дружбу народов в газетах читали, фильмы смотрели. А в жизни часто слышали обидное. Добр – значит, еврейский грех замаливаешь. Мол, знает кошка, чьё мясо съела. Чьё мясо я ела, азохенвэй?! Я своё отдавала, как тех курочек гапкиным детям. А потом жизни забрали – и забирать стало нечего. Но всё почём зря виноватили! *Нам* всё в вину... Были, конечно, и человечные – *нас* не обижали, еврейских детей от немцев прятали. Таких было много. Но и жестоких немало... А гапкины сыны потом все трое пожарниками стали. Я сегодня как пожарных увидела, опять всё вспомнила. И вот что думаю. Если б Гапка моих детей тогда впустила, то может, и её семью под корень бы извели. Значит, чтоб её сыны сотню-другую детишек от огня спасли, двое моих погибнуть должны были? Такая арифметика у Бога. Неправильная...

И Соня, у которой с Богом были сложные отношения и вопросов к Нему не меньше, чем у тётя Хели, вдруг стала горячо Его защищать:

– А чем Бог виноват, тётя Хеля? Бог людям выбор предоставил: идти в полицаи или в партизаны. Или хотя бы не наживаться на чужом горе, не использовать чужую подлость для своей выгоды, как сделали те, кто сам не расстреливал, но одежду убитых делил и занимал дома расстрелянных. Попользовались плодами чужой подлости – значит, сами подлости причастились. Бог ещё в Раю за человеком право выбора оставил – съесть яблоко или удержаться от соблазна, следуя Божьему завету? Не удержались. С тех пор крен в неправильную сторону и пошёл. И Зинаиде Бог выбор предоставил. И у Гапки выбор был: спрятать детей или позвать полицаев... или, как вы сами сказали, просто затаиться, чтоб на себя беду не навлечь, но и греха предательства не брать на душу. Она худшее выбрала. Богу, наверное, самому грустно

смотреть на всё это. И судить потом Он будет по мыслям и делам нашим. А пока мы живём, Он надеется, что *правильный выбор* сделаем. Не обязывает – надеется! И смотрит. Выбор – это *наша* ответственность. Не может он людей принуждать. Тогда он не Бог был бы, а диктатор!

– Может, и так, – соглашается тётя Хеля. – Может, и в самом деле Он подсказки даёт и смотрит: услышим ли? Может, и вправду Он подсказал гапкиным сынам пожарными стать – материн грех искупить? Ты умная девочка. Возьми штруделя, соседок угостишь.

Достаёт из сумки кус, заворачивает в газетку. Соня невольно взвешивает дар рукой – и думает *подлую* мысль, что своим участием заработала для себя с подружками еду взамен сожранной гостями.

– Спасибо, тётя Хеля! Не только за штрудель. За всё спасибо.

– За что? – удивляется та, но ей приятно.

– Знаете, это ведь ваш рассказ натолкнул меня на мысли о выборе и личной ответственности. И на всякое другое. Очень важное. Ещё час назад я думала, что всё случайно и бессмысленно. А сейчас так не думаю. Вы мне ответ дали. Будто наш разговор подстроен кем-то. Не случаен. И ваши слова про арифметику Божью. Я про эту арифметику одну историю вспомнила. Давайте расскажу.

– погоди, – встаёт тётя Хеля, направляется к коридорным туннелям и кричит в них зычным, почти базарным, голосом. – Отбой! Отбо-о-ой! Кончай музыку. Скоро разгонять гостей пойду! Полчаса на прощания!

И совсем другим тоном – ласковым, усталым:

– Ну рассказывай про свою высшую арифметику.

– Папа мой был дважды репрессирован, в сталинских лагерях семнадцать лет провёл. Однажды, – это на Воркуте было, в первую ходку, до моего рождения, – сделался совсем доходяга, слёг. Сняли его с довольствия, чтоб еду на доходягу не тратить. Отволокли в заброшенную угольную выработку – умирать. И стал к нему местный врач тайно наведываться – одеял наташил, еды, лекарств. Выходил. А потом рассказал, что семейный грех замаливал. Жил он в детстве с матерью тоже в Баку. Мать домработницей у многодетного купца-армянина работала. Относились к ней хорошо, но бес попутал – когда началась революция, украла она у купца драгоценности покойной жены и скрылась. Время голодное. Украшения потихоньку продавала и благодаря этому сына в сытости содержала. А когда сын тифом заболел, продала напоследок какой-то особый изумруд из украденных ценностей – даже ювелир удивился: мол, таких изумрудов – раз-два и обчёлся. Отвоевала сына у смерти. И полученных денег им ещё надолго на сытую жизнь хватило. А спустя годы рассказала сыну, что грех на её душе, что купец с детьми потом много бедствовал, она узнавала, но духу не хватило пойти к его семье и покаяться. И имя купца назвала: Аветис Гаврилович Арутчев. Но и сын после материнской смерти не стал купца искать, чтоб повиниться. А вспомнил эту историю, когда моего отца умирать бросили, и решил: «Раз я выжил благодаря бедствиям какой-то армянской семьи из Баку, в которых мать моя была виновна, пора долг отдать – спасти другого бакинского армянина». И вот вам, тётя Хеля, Божья арифметика. Тот купец – мой дед по материнской линии был: мамин отец. Я с детства слышала от мамы про украденные украшения и про изумруд особенный. И получается: если б не заработал мой дед-купец драгоценности и не украла б их домработница, не спасла бы сына от тифа, то не спас бы потом этот выросший сын моего умирающего отца, мужа дочери того купца, – и я б не родилась...

– Жестокая арифметика.

– Да. Но как удивительно «части уравнения» потом сошлись!

– Д-да... Людям даётся возможность кое-что исправить... Но деткам моим за что смерть такая страшная?! Чтобы какой-то там ответ в этой высшей алгебре сошёлся? А иначе нельзя было составить задачку?

– Наверное, нельзя. Не знаю я этого, тётя Хеля. Может, человеку этого не понять? Может, тут, как в математике, свои правила? Нравятся они нам или нет, но – *правила*. Или даже *законы*...

«Похоже, в самом деле кому-то там наверху надо было, чтобы папа выжил и меня родил? – додумывала Соня, попрощавшись с тётей Хелей. – Более того, если папу не посадили бы вторично перед войной, то как “врага народа” послали бы на фронт в составе штрафбата – и он наверняка бы погиб. И опять же я бы не родилась. Будто кто-то специально допустил эти жестокие хитросплетения, чтоб я на свет появилась. Выходит: я зачем-то нужна? Что-то вроде Спаса на крови? И мне тоже сцеплять какие-то разорванные нити? Как тот лагерный врач сцепил их через четверть века... Он понял это – и восстановил нарушенный ход вещей. Пойму ли я? Если не выполню назначение – то получится: эти ужасы были напрасны! А какое у меня назначение? Сверху не подскажут. Сама же говорила тётя Хеле: Бог никого не обязывает – лишь надеется на наш правильный выбор. Но ведь не шепнёт – какой правильный. Это каждый раз решать самой...»

– Соня, ты какую тему для курсовой взяла? – окликает, плюхаясь с книжками и тетрадками на диван в холле, серьёзный до унылости Кеша Тютьев, который обычно выходил сюда заниматься после полуночи, когда соседи по комнате устраивались спать. – Я никак не могу выбрать.

– А я не ориентировалась на список. Сама тему придумала: «Маленький человек в русской и советской литературе».

– Хм, и утвердили? – восхитился Кеша. – Не сказали, что в СССР нет «маленьких людей», а следовательно – нет «маленького человека» и в произведениях советских писателей?

– Примерно так и сказали, – весело отозвалась Соня, обрадовавшись, что Тютьев перебил её трагический настрой. – Посоветовали ограничиться русской дореволюционной литературой.

– А ты?

– Согласилась. Мне же легче! Меньше писать...

– Покладистая ты слишком, – не одобрил принципиальный Кеша. – Это же твоё право – выбор темы. Струсил, что в антисоветчицы запишут?

– Зачем по пустякам нарываться? Ради принципа? Повод мелковат! Смешно, когда с принципами на унитаз садятся, – уела на ходу Тютьева Соня, направляясь к своей комнате. – Я баиньки. До завтра!

– Что, «нормальные герои всегда идут в обход»?

Соня остановилась. Он про сейчас? В смысле, что она уходит от разговора? Или про вообще?

Начала заводиться:

– Главное – понимать, куда идёшь. Сейчас – спать. А вообще мне диплом получить надо. У меня родители старые. Долго тянуть меня не смогут. Может, конечно, это не ответственность, а трусость. Но я и не стараюсь выглядеть героически. Не хочу из-за ерунды ставить под удар ни себя, ни родителей. Да ещё на старте! Чтоб с дистанции сняли?

– Не боишься, маневрируя уже на старте, ориентиры потерять и не туда вырулить?

– Не драматизируй. Любишь бурю в стакане воды разводить! Что, я другой стану, если полтемой обойдусь?

– Может, и станешь. Гибкая ты слишком...

Опять этот Тютьев настроил её на серьёзный лад! Лёгкие препирательства стали превращаться в тяжёлую дискуссию. «Буря выплеснулась из стакана – лезу в бутылку», – хихикнула про себя Соня, но завелась основательно. Вернулась. Села на диван. Загорячилась:

– А я и не хочу быть железобетонной. От ортодоксов – одни беды, даже если они подвижны благими намерениями. Помнишь, чем путь в ад вымощен? Фанатичным правдорубам людей порубать ради куцей идеи – ничего не стоит. Я буду воевать лишь в крайнем случае, когда другого выхода нет. И то вначале хорошо его поищу.

– Я же не штыком махать советую! «Мы к штыку приравняем перо» – я о пере. Вспомни Фрейда: «Когда человек вместо камня бросил в недруга ругательство, то сделал первый шаг к цивилизованности»...

– ...а когда вместо ругательства произнёс: «Погоди, давай спокойно разберёмся – может, поймём друг друга и договоримся», то сделал второй шаг. Твой Фрейд до этого не додумался. Это я тебе говорю. Запиши в свой цитатник. Разговор лучше ругани, если есть хоть малая возможность разговора.

– Так и я про разговор. Курсовая – это же способ высказаться.

– Не-а, ты не про разговор. Ты про доказывание своей точки зрения. Про монолог. А я про диалог. Про нащупывание точек пересечения интересов. В случае с курсовой – правила игры другие. Мы не дискутируем. Я пишу – преподаватель ставит зачёт. Или незачёт.

– И тем не менее у Огарёва: «Только выговоренное убеждение свято». А это Герцен: «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека»...

– Знаешь, – усмехнулась Соня, – меня может удовлетворить и многое другое. Я не Чацкий – мне не надо компенсировать речами скрытые комплексы. Вспомни: с чего он озлился? Самолюбие оскорбили: с девушкой не вышло. И начал всех поливать. Себялюбец он не меньше Молчалина. Просто действовали по-разному. Сказал ли Чацкий хоть о ком-то доброе слово? Нет. Он только в своих глазах был хорош. Себя любил – не Софью. Повыпускал жёлчь, подставился сам – и отправился «искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок». Знаешь, как ни противен Молчалин, он по крайней мере адекватней Чацкого...

– Так всё-таки противен?

– Противен. Подлец бесчувственный, приспособленец. Но вреда от него меньше. А нервный прототип Чацкого – Чаадаев – всех возбудил и за границу слинял. Обличать с безопасного расстояния и мучиться ностальгией. Тоже мне, героический страдалец! Тем, кто в России остался, хуже пришлось. Проследи цепочку: началось с «благородных» выкриков чаадаевых – закончилось братоубийственной гражданской войной и сталинскими лагерями. Да и закончилось ли? Уж очень наш народ полюбил обличать. То эти – тех, то те – этих. Вот и ты меня сейчас обличаешь. Хочешь, чтоб я обличала других. Потом те, кого я обличу, меня обличать начнут. А ты запишешься в мои сторонники и станешь обличать тех, кто обличает меня... И не будет этому конца.

– Ну и благоразумная же ты Мальвина!

– Вовсе нет. У меня пока тоже одни порывы. Но я не тороплюсь действовать радикально. Живу одним днём и стараюсь разобраться. В себе и вообще...

– Сороконожка стала думать, какую ногу первой вперёд заносить, – и ходить разучилась!

– Да я не о том, что про каждый шаг надо думать. Это невозможно. И скучно. Но я чувствую: вначале надо понять что-то *главное* про себя, про других, про мир вообще. А когда пойму, то потом уже это «главное» *само* будет изнутри подсказывать правильные шаги. *Само*. Думать о них не придётся. Исходный выбор станет облегчать другие выборы...

Боже мой, куда не деться от мыслей про выбор!

Соня отошла в полумрак к окну, задумалась, помягчала, перестала казаться ершистой, встала вполборота, предъявив в качестве дополнительного аргумента обтянувшийся трикотажной кофточкой абрис округлой груди, замерцала глазами, обращёнными в неведомые дали сквозь Тютёва и вообще сквозь всё, будто она здесь и нет её, – так что хотелось её схватить, чтоб не исчезла, не растворилась, как мираж, как загадочная Фата Моргана.

– Знаешь, когда-то в детстве я решила: самое главное – любовь, остальное приложится...

– Ну, это чисто женское! – Тютьев сам помягчел, залюбовался, как плавно стекают с шеи сонины плечи, струятся руками.

Воливал диссонанс между мягкими формами и умными словами, исторгаемыми из них. Глуховатый тембр её «ночного» голоса завораживал:

– Нет, я про БОльшую любовь – ко всему хорошему, всему живому. Я про любовь, которая как слияние со всем хорошим и живым, когда понимаешь, что ты всего лишь часть этого, а не пуп земли. Любя всё это, любишь и себя, а любя себя, любишь всё это, потому что мы – *одно*. Как я могу сделать больно другому человеку, собаке, дереву, если они – *продолжение* меня? Это всё равно что сделать больно своей руке или ноге. В общем, чувствуя так, как-то бережнее живёшь, что ли... внимательнее ко всему... и счастливее. Тот детский выбор многое упростил. Но потом мне голова стала мешать. Я стала думать: вот фашист – он тоже живой, но я не могу его любить. Он антипод мне, а вовсе не продолжение меня. Или таракан с комаром – я же их убиваю, потому что они мне мешают. Значит, вру я про любовь к живому?! Вру и про другое: комар меньше меня, вот я и пользуюсь преимуществом своего размера и силы – значит, вру себе и про то, что не сила правит миром... Получается: правит сила, а не любовь... Но может, как-то соединяются *любовь* и *сила*, образуя срединный путь?!

Оба помолчали. Соня первая нарушила паузу:

– И вообще: что такое «хорошо»? Для *кого* хорошо? Для людоеда хорошо – меня съесть. Для комара – моей крови попить. Получается: хорошее относительно. Что, разве комар объективно плох? Нет. Он плох для меня. Я объективно плоха, потому что комара убиваю? Нет. Я плоха для него как убийца и хороша как еда. Просто нам с фашистом, комаром, людоедом не жить рядом – мы несовместимы, более сильный убьёт более слабого. Вот и вся правда! Может, главный выбор – стать сильной? Сильнее всех? По всем параметрам сильной? Неуязвимой? Но от этих мыслей холодно и одиноко. Как вырлиться на срединный путь, где соединяются любовь и сила? В общем, я запуталась. Значит, надо распутываться.

– И получается?

– А я поступаю, как советуют в анекдоте: «Что делать, если насилуют?» – «Расслабьтесь – и получите максимум удовольствия». Я просто живу и попутно размышляю. Без напряжения. О других, о себе. О том, что вижу-слышу. Ты говоришь: высказывайся! А я отвечаю: мне прежде надо понять, *что* я хочу сказать и *для чего*. А ещё: *как* сказать, чтобы меня услышали и услышали правильно. Ведь я хочу быть понятой, а не просто что-то крикнуть в пространство. Посмотри, в жизни часто получается, как в игре «испорченный телефон»: ты кому-то шепчешь на ушко фразу, он недослышал – и следующему на ушко шепчет другое, искажённое. И так от человека к человеку сказанное тобой изменяется. А потом последний вдруг начинает томагавком махать, – он решил, что ты его к этому призвал, хотя ты об этом и не думал.

– Ну, мы не можем отвечать за чужое непонимание. Как можно быть уверенным, что твои слова будут поняты правильно?

Этот Тютьев всё время отделяет себя от окружающего, – оно ему неинтересно, он не соотносит себя с ним! Ему интересны только собственные мысли и желания. И... Есть контакт? Нет контакта.

Соня опять загорячилась:

– Так не лучше ли тогда промолчать? Не уверен, не обгоняй! А для начала уясни пустяк: с китайцем говорят по-китайски, со шведом – по-шведски, то есть на языке собеседника. Если хочешь не просто что-то произнести, а чтобы другой счёл тебя убедительным, то учитывай его семантику, психологию, систему ценностей. Он партнёр, а не сточная яма, в которую сливают при нужде эмоции и мысли. А если он враг, чужой, – тем более! Ведь цель – не просто сказать ему, кто он такой, а переманить на свою сторону. Без общего языка выйдет мордобой, а

не взаимопонимание. Революция вместо эволюции. Конечно, иногда революции неизбежны, спровоцированы ситуацией. Но революция – всегда трагедия. И для участников, и для тех, кто рядом оказался.

Тютьев стряхивает с себя гипноз. Мужское в нём вспыхивает агрессией. Ему хочется сделать Соне больно. Может, даже ударить. Чтоб растерялась, замолкла, сдалась наконец. Плевать ему на «общий язык»! Подчинить женщину себе силой – вот и весь разговор! Жаль, нельзя. И хлещет её словами:

– Ну, ты-то с такой психологией всегда успеешь в кусты на обочину слинять – будешь там точки соприкосновения интересов нащупывать...

Соня сопротивляется, держит удар:

– И слава Богу! По крайней мере не наврежу никому. А если найдётся с кем, более нежным, чем ты, в кустах сидеть, так совсем хорошо.

Соня злится, хочет отбить правоту его обличений – это правота той части Сони, которая ей самой не нравится, и правдоискательские порывы которой другая её часть время от времени урезонивает.

– Ой, и дурак же ты, Кеша! Умный, умный, а дурак. Живи и радуйся, а не поводы для битв ищи! Слушай, ты целовался хоть раз? Вон девушки вокруг – разные, тёплые, глазками зыркают, с кухни – запахи вкусные, птички поют, травка зеленеет, солнышко блестит... Расслабься и получи максимум удовольствия!

– «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой», – декламирует Тютьев, то ли уговаривая себя, то ли считая, что Соня этих благ достойна, и его долг – указать к ним путь.

– А если я пацифистка? – смеётся Соня. – Что, мне не жить теперь? Жить ой как приятно!

Ей вообще-то симпатичен «чёрно-белый» правдолюбец Тютьев, но так и хочется его оживить, добавить красок, хотя это, возможно, нарушит его цельность, искривит прямоту, испортит, соблазнит, завлечёт в омут нюансов, а там русалки защекочут, опутают волосами, и черти наготове – и уже не выплыть на свет Божий. Не змей ли искуситель подталкивает Соню? Или, напротив, София-Мудрость хочет через неё обратить внимание на свою прекрасную полноту, на гармонию сложного многоголосья мира? Или это не Соня искушает Тютьева, а он – её, склоняя к *подмене*: к принятию части Текста за полный текст?

Как, по каким признакам понять, в контексте ли *полного* текста тот или иной «кусочек», не болтается ли сам по себе, выпав из вселенской гармонии?

И будто слышит тихий голос Ангела Мани: «Да! Ты угадала: нельзя подменять полный Текст цитатой, как бы хороша та ни была. В Божественном Живом Тексте – всегда воздух, пространство. В нём нет окончательных оценок. Бог никого не приговораживает к намертвению даже в гневе. Ты же сама сегодня говорила: Он даёт шанс спастись – поразмышлять и выбрать. И ты должна оставлять другим такую возможность. Выбрав что-то для себя, не давай *бесповоротной* оценки тому, что отвергла, – оно ещё *может* измениться. То, от чего ты отказываешься, уже немного меняется в момент твоего отказа от него. Его меняет сам твой отказ – тут прямые и не прямые связи. И помни: отказ от чего-то – это всего лишь *изменение своим выбором баланса сил, но не суд*».

А Тютьев распалился. И говорит, что осторожные, оберегая свой копеечный комфорт и не сопротивляясь маленькому насилию, упускают время, когда можно изменить ситуацию бескровно, – и приближают большое насилие, молчаливо давая властям «добро» на это.

Соня соглашается. Всплывает детская обида за тасеевского Михея, брезгливость к тем, кто его любил, но позволил посадить ни за что, а потом тихо его жалел и казался себе хорошим. Да и в ней час назад кипел праведный гнев, когда в разговоре с тётей Хелей она осуждала тех,

кто сам не расстреливал, но стоял молча рядом, деловито примеряясь к вещичкам. И думает: чем она лучше этих презренных предателей?

Голос Мани продолжает шептать: «...оставляй в себе место для переоценок... воздух... не забывай про воздух! Жёсткая оценка, завершённый ответ без последующего вопроса – *признак* того, что они подброшены Искусителем, ибо они лишь *часть* Текста, а значит – *ложный ответ*».

О чём это Маня? О том, что нельзя однозначно осуждать других? Или себя? Или о том, что могут оказаться плачевными последствия первого благородного порыва – сопротивляться, и надо думать о последствиях? И речь – *не о выборе поступка, а о выборе последствий!*?! И последствий этих последствий?

«...Помни: простой ответ, замкнутый сам на себе, – ловушка! – продолжает нашёптывать Маня что-то не слишком внятное и далёкое от мыслей Сони, но более *универсальное*, включающее в себя и то, о чём они говорят с Тютчевым, и то, что вспоминается, и много чего другого, которое пока даже не приходит в голову. – Простой завершённый ответ может быть правдой. Но никогда не бывает Истиной. Ты же сама думала об этом! Враг рода человеческого любит забавляться подменой Истины сиюминутной правдой, которая перестаёт быть правдой в тот миг, когда её вырывают из Контекста. Одураченный этого не замечает! *Правильный ответ всегда открытый* – он порождает вопрос. Кто ищет, тот находит; кто находит, тот снова ищет. И ещё: правильный вопрос *ведОм любовью*, а не ненавистью. А правильный ответ *прост, но никогда не завершён*»...

Это рефлексии! – думает Соня. – Прав Кеша: если только и делать, что размышлять, то потеряешь способность к действию – будешь себе вопросы задавать, пока вконец не запутаешься. И станешь той сороконожкой, которая ходит разучилась, начав думать, как ходить.

Маня тут же отвечает на её мысли (где он, у неё в голове, что ли?): «Я не о том, что надо всё усложнять. Нет, каждый следующий ответ должен быть проще предыдущего, пока не придёшь к самому простому, проще которого не бывает, но который включает в себе все прежние. Это как преобразования в математике. К таким ответам путь долгий – через неверные поступки, ошибки. Ошибок не надо бояться, как и поступков. Но о них надо размышлять. И выравнивать путь. Критерий – любовь, а не узвлённое самолюбие, не ненависть».

Ну, вконец запутал, хотя слова знакомые! Давно Соня его не слышала. Разучилась понимать. Но сказанное как бы само врезалось в сознание. На потом? Уйди, Маня, и так голова пухнет!

Тонут в омуте недодуманные мысли, мелькая меж водорослей и уходя в глубину. Или не тонут, а прячутся на дне между камнями, как рыбы, чтобы вынырнуть в нужный момент, обернувшись Золотой Рыбкой?

Но вот уже тёмная изумрудная вода не в Соне, а вокруг – это ветер за окном разыгрался, фонарь качается, тени веток скользят по крашеным зелёной краской стенам холла, колышутся, будто водоросли. Кружится голова, тело становится невесомым, переворачивается в тёмной воде. Словно ныряешь с высоты – и увлекает водоворот, образованный резким падением тела. Оно перестаёт понимать, где верх, где низ, то ли выныривая к солнцу, то ли уходя всё глубже за обманными солнечными бликами, скользящими по придонному песку, блестящим камням с шелковистой мшистой прозеленью, сверкающему графитовому илу.

Верх – низ, низ – верх... Где солнце, а где лишь его отражение, сатанинский фантом, заманивающий в пучину?

Дьявольское зеркало!

Соня выныривает. Страхивает с себя капли. Она русалка. А сейчас обернётся кошкой. Потягивается. Взмуркивает. Лениво цедит завлекающим грудным голосом – вроде бы своим, сониным, и стилистика её, но в позе, в интонациях, в дыхании чудится что-то кошачье:

– Да не верь ты слепо этим великим! Тот, кого ты цитируешь, не только каждодневными боями завлекал, но и деревом жизни, которое пышно зеленеет... (М-м-р!)... И в любви толк знал (М-м-р!)... Стариком был, а о юной деве мечтал. Заметь, не платонически (М-м-р!)... Ты такой необузданный, Кеша! Найди страстям другое применение (М-м-р!)...

Тютёв теряется. Не намёк ли это? В самом деле: рядом тёплая пылкая девушка, к которой его влечёт. Сжать бы полную грудь, чтобы не вздрагивала так независимо, а расслабилась, отяжелела в руке! Заскользить губами по душистой шее, уху, волосам... признаться, что он в самом деле дурак. И зашептать, зашептать страстные глупости! Но Соня уже превратилась в себя прежнюю:

– Что тебя так моя курсовая заела? Кто эту курсовую читать будет кроме тишайшей Анны Иовны? Зачем перед ней выпендриваться? Права качать? Этим я покажу себя неадекватной идиоткой, вызову ответный удар. Представь, что комарик стал жужжать у твоего уха про права комаров. Что ты сделаешь? Прихлопнешь! Кроткой Анне Иовне будет совестно, но и она так поступит. Она должностное лицо. Незыблемость статуса ей важнее прав глупого комара, который полез на рожон. Да она и сама знает, что к чему, но хочет до пенсии тихо дожить. Если спровоцирую её на согласие со мной – убью этим. Я не Раскольников, чтоб утверждаться в собственной значимости через убийство старушки. И вообще, знаешь, я далека от мысли, что без моего вмешательства мир разрушится. Он прекрасно стоял без меня миллионы лет и, полагаю, продержится столько же...

– Ну, стоял он не слишком прекрасно... да и сейчас не без изъянов. Тебе же самой он временами не нравится!

– Это когда я не в настроении...

Соня передёргивает, утрируя свою отстранённость, – она как раз-таки пытается нащупать ту единственную точку, утвердись она на которой, мир мог бы простоять дольше и стал бы лучше, но Кеше это знать не обязательно. Тем более что такой точки она ещё не нашла.

«И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!» – часто напевала мама по разным поводам со значением: мол, надо бороться со своими недостатками, с неразумными желаниями, с неподатливой реальностью.

Соня видела за словом «борьба» болезненную ломку – себя или действительности. И убеждалась: борьба – не лучший способ существования. По крайней мере – не самый счастливый. Она отдавала себе отчёт: иногда не обойтись без борьбы. И была готова к битвам. Но не хотелось вечно чему-то противостоять. Больше нравилось вписываться... как папа... как дед Аветис Гаврилович. Они тоже противостояли, но не внешними поступками, не насилуя себя и действительность, а чем-то, что было у них внутри.

Этим «чем-то» они умудрялись как-то заполнять враждебное пространство, не вступая с ним в открытую схватку, – и оно поддавалось, теряло враждебность. Колесо судьбы начинало вращаться в другую сторону. Со скрипом, остановками. Но в другую.

Если *правильно* вписаться, размышляла Соня, то не борясь и ничего не ломая, всё равно *неуловимо меняешь рисунок бытия одним фактом своего существования* в данном месте в данное время – реальность со всеми включёнными в неё элементами сама перестраивается с учётом твоего ненавязчивого, но стойкого присутствия.

Изменять не изменяя... Иметь исходным мотивом не борьбу и ломку, не стремление главенствовать, а улавливание гармонии, постижение Высшего Замысла, Законов Разумной Природы, если хотите. Эти Законы более важны, чем отдельный человек, но *и он для них очень*

*важен*, особенно если не выцарапывал свою важность, а получил её в ответ как дар Небес за согласие играть по Их правилам. Понять бы только Их правила!

И ещё для Сони был очень значим момент эстетический. Бороться, ломать – *некрасиво*. А вот ощутить гармонию, вписаться в неё, стать её частью и парить вместе с ней – *красиво*.

Она записала в тетрадку странные слова Эйнштейна: «если согласно квантовой теории наблюдатель создаёт или частично создаёт наблюдаемое, то мышшь может переделать Вселенную, просто посмотрев на неё». Эйнштейн видел в этом парадокс. Соне же казалось: никакого парадокса тут нет.

Слабая мышшь в самом деле всесильней и мудрей учёного наблюдателя! Более органично связана со всем, чем он. Потому что маленькая, безыскусная, живёт без поспешной суеты, соразмеряя потребности с возможностями. Не стремится повелевать жизнью и *позволяет случаться* тому, что *должно* случиться. И корректирует это одним лишь своим пребыванием на земле, ничего не ожидая, ничего не требуя, ничего не притягивая за уши под специальные мышшиные мифы за неимением таковых. Просто потому, что она не свидетель сущего, а *само сущее*, и живёт *внутри* природы, не пытаясь поглядеть на неё со стороны. И Вселенная, радостно откликаясь на мышшиное существование, сама изменяется *естественным* образом – с учётом мышши. Они дружбаны, потому что мышшь *непредубеждённо* относится ко всему. Но при этом не идёт и против себя, сочетая личное со всеобщим.

А наблюдатель, даже пассивный, всё равно слишком тенденциозен, ибо *знает*, что именно хочет или может увидеть, – и вольно или невольно подтягивает наблюдаемое под свои ожидания, ломая его естественный рисунок и всегда видя лишь часть узора...

Соня хотела встроиться в реальность, как «квантовая мышшь». Чтоб увидеть всё, *как есть*. Не снаружи, а *изнутри*. Целиком. Не нарушить вселенскую гармонию, а дополнить её, чтоб она признала Соню своей, – и продолжиться ею. Тогда тело станет телом живой бесконечной Вселенной, а Вселенная свернётся в нём тёплым уютным клубком. Никакого противоречия в этом Соня не видела.

Что-то говорило: это возможно, эта возможность достигается каким-то очень простым – *невероятно простым!* – способом, который настолько прост, что о нём догадаться сложно. Будто надо всего-навсего *правильно повернуться внутри себя*, вроде скрученной спиралью Ленты Мёбиуса, чтобы разом сошлись в одной точке некие проекции чего-то, что находится в ней, Соне, и вовне.

Проекции чего? Что собой представляет эта смутно ощущаемая стереометрия?

Всё это совсем не предполагало пассивность. Напротив, требовалось напряжение чувств и деятельное сосредоточение, чтобы «ловить ветер» из глубин мироздания, вобравший звуки тысячелетий, листаящий страницы книг, усиливающий голоса соседей по векам и планете, – и соотносить с ним слова и поступки, ища *правильный поворот* своего «я». Ведь человек – не мышшь. Разум почти подавил природное чутьё и ощущение целокупности мира. Значит, надо привлекать разум в союзники, чтоб не важничал, не мешал, а был капитаном, который назначил бы интуицию помощником, – и оба *вместе* направляли бы паруса судьбы, вступая в игру с этим волшебным ветром, угадывая его правила и следуя им. А когда ветер надует паруса и повлечёт судно, то можно расслабиться – пить, есть, болтать, ловить рыбу, глазеть по сторонам, не забывая послеживать за ветром.

Это и было, по мнению Сони, – «встроиться».

Она пыталась обнаружить такое «место встраивания» в каждой отдельной ситуации – не столько умом, сколько чувствами, почти всецело доверяя внутреннему ощущению *совпадения* или *несовпадения* слов и поступков с неизвестными ей законами, с чем-то *должным*. Сознательный анализ приходил позже и касался только зримого мира. Ощущение *незримых законов* мироздания было полнее, хотя сформулировать их она не могла. Капитаном её парусника была скорее интуиция, а разум – помощником, но оба весьма исправно несли службу. Хотя,

если продолжить сравнение, иногда они уходили в загул – тогда парусник сониной жизни становился неуправляемым. И его несло не к тем берегам.

Но если удавалось «поймать ветер», то появлялось ощущение вписанности в некий энергетический узор мира – всё разом наполнялось тёплой правильностью и даже еле слышной музыкой сфер: Соне казалось, что до неё со всех сторон доносится слабый мелодичный звук колокольчиков – это было сигналом, что «место встраивания» выбрано точно. Правда, такое не часто случалось...

...Сейчас колокольчики зазвенели. Или это звенит у неё в голове? Ведь уже три часа ночи. Пора спать. Завтра к девяти на лекции. Наверное, звон в голове от недосыпа. Потому что нет чувства парения, какое возникало, когда всё *совпадало*. Напротив, царапает неприятное ощущение раздвоенности. Будто часть Сони невесома, а часть проваливается в тягучую жижу. Что-то *не так*...

Хотелось спать. Но не засыпалось. Соня ворочалась, не находя удобной позы. Подушка комковатая и какая-то мёртвая. У мамы все подушки дышали, шептали на ухо нежное, любили её. Накрахмаленные до хруста наволочки пахли свежестью и ароматами маминого шкафа. А эта пахла сигаретным дымом, хлоркой общественной прачечной, кислым металлическим запахом каталок в общежитейском хозблоке, куда студенты приходили раз в неделю за сменой постельного белья. И жёсткое казённое одеяло не обнимало, а равнодушно лежало на ней само по себе.

Всё чужое. Все чужие. И она всему и всем чужая. Пока говорила с тётей Хелей и Тютёвым, вроде бы чувствовала «встроенность», а сейчас опять как бы выпала отовсюду. Даже подушка с одеялом не принимали.

«Мимо... мира и гОря мимо». Что так прицепились эти строчки?! Шутки подсознания? Идёт она мимо всех, загорается на время, пылает страстями, участвует в разных событиях, нередко играет в них главную роль, кем-то восхищается, кого-то любит, но ни к кому не прилепляется, истязает себя умствованиями, тоскует. «Пойди туда, не знаю – куда. Принеси то, не знаю – что»...

А еду девочкам она всё-таки принесла! Не придётся ехать на лекции с пустым желудком...

Под ложечкой засосало. Конечно, она же не ужинала! Протянула руку к тумбочке, отломала в темноте кусок штруделя. Сладкая слюна загорячила пищевод. А внутри всё равно отчего-то неуютно...

Как она убеждённо говорила с тётей Хелей и Тютёвым, как связно всё выстроила! И воспарила. И услышала звон колокольчиков. А сейчас слова, которые она в изобилии вывалила из себя, потухли. Хотя не были неправдой – Соня верила в то, что сказала. Но это была *часть* чего-то, что она ощущала целым – более величественным и даже немного грозным, но никак не могла разом увидеть, ухватить одним махом. Скребла досада, что *слишком* много болтала и как-то *около*... по поверхности... избегая заглядывать в некую глубину, будто боясь увидеть нечто, что разочарует в себе и в мире... а он *должен быть* осмысленным и разумным, как и её существование! И плела, плела на скорую руку удобные иллюзии для себя и других из предложенных обстоятельствами фрагментов и собственных сентенций, стараясь сохранить целостность свою и мира в ласковой связности, сцепленной в единое по её разумению. Хотя кто сказал, что её разумение правильное?

Вдруг толкнуло, что она вовсе не мышь, которая изнутри Вселенной мужественно видит всё, как есть. Нет, она как тот предвзятый наблюдатель пересоздаёт Вселенную по образу, который в её голове. «Делает себе красиво», хотя упрекала в этом Кешу. Уверяла его в глубокой честности с самой собою, но «прихорашивает» себя.

На самом деле она лживая, пафосная: декларирует одно, поступает по-другому. Ест, например, корову, которую убили другие. Сама бы не убила, чистоплюйка, – пользуется для

убийства чужими руками! И ест. С удовольствием. А как пригвоздила тех, кто сам не расстреливал, но одежду убитых делил! «Подлости причастились» – слова-то какие нашла! А сама... Чем она лучше? Но даже уличив себя в двоемыслии, вовсе не раскаивается – и всё равно будет есть корову. И свинью. И барана. М-мм, какой вкусный шашлык из барана! И курицу будет есть. Потому что ей это нравится.

Какое счастье, что ей не нравится убивать, потому что если бы нравилось, то убивала бы, а это так противно!

И почувствовала себя собакой, ловящей свой хвост.

И стала думать не о себе, а о Боге. Почему он не спас детей тёти Хели и вообще всех детей? Не впервые Он так нехорошо поступает. Похоже, это у Него традиция. Вот ведь и рождение Его Сына привело к гибели вифлеемских младенцев. Они бы остались живы, если бы Христос не родился...

Ой, как она кошунствует! А что, Бог не кошунственно поступил?! Ладно, пусть, конечно, Христос бы родился, но если бы весть о его рождении не разнеслась так стремительно, то вифлеемских малышей не убили бы. Почему Бог не велел вестникам держать язык за зубами до поры, до времени, чтоб не вводить в искушение злобного Ирода, не провоцировать на массовые казни, испугав, что среди вифлеемских детишек – новый Царь Иудейский? Говорил же Сам, что искушать – грех! Выходит: вестники Рождества Христова согрешили. И разделили грех убийства младенцев. И Бог разделил. Сказано ведь: и волос с головы не упадёт без воли Его. Значит, на то была Его воля?!

А может, иначе нельзя было? Может, надо было подготовить сознание людей, чтоб успели за следующие три десятка лет о многом подумать и не прошли бы мимо Мессии, когда тот станет выполнять свою историческую роль? Тут не обойтись без Благой Вести о его рождении, а значит – и без гибели младенцев. Неизбежные «издержки производства»? Давая человечеству возможность спастись, пришлось пожертвовать сотнями детей?

А как же со слезой ребёнка, которой не стоят все блага мира?!

Говорят: мол, Бог зла не творит, а лишь «попускает» его. Понимая, что оно неизбежно? Или – страшно сказать! – даже необходимо? Но при этом Он в стороне. Его хата с краю.

Что же выходит? Бог не может содейть что-то хорошее, не попустив зла?! Не всемогущ? Или не милосерд?

Или милосердие Его слишком нечеловеческое – касается только души, а не тела? А у человека-то и тело есть, которому больно, которое умирать не хочет! Тело – не то, что заботит Бога? Почему же тогда человека с телом создал?!

Своего-то младенчика уберёт, успел шепнуть Иосифу с Марией, чтобы бежали... Конечно, Его Сын – будущий Спаситель, важная фигура для человечества. А другие дети что, пыль? Дерьмо собачье? Удобрение для *правильной* истории?

Как же со слезой ребёнка, Господи?!

Жестока Твоя нечеловеческая мудрость. Ведь потом Ты и Сыном пожертвовал для *правильной* истории. А ему тоже больно было! И молил Он в телесной слабости Тебя, чтобы пронёс чашу мук мимо. Не пронёс. Дал испить сполна. Потому что так *надо было*?!

...Отломила ещё кусочек штруделя. Слабый запах ванили повис облаком над кроватью, напомнил дом, обострил чувство одиночества. Мама, как трудно жить! Хочу быть снова маленькой и слушать твои сказки! Как сложно во всём разобраться! А плюнуть, не думать – не получается. Одна половинка радуется, другая тоскует. Наверное, эти мысли – сублимация сексуальной энергии. Пора отдаться кому-нибудь.

Не то, чтобы Соня несла свою девственность как знамя. Но и терять не торопилась, хотя многие девочки в первые недели студенчества поспешили расстаться с этим пережитком про-

шлого, гордясь потерей как инициацией. Соня не хотела отдаваться мимоходом. Не раз была в полушаге от этого, но ускользала, обращала всё в шутку. Может, зря?

...Но вернёмся к нашим баранам... Это к себе или к Богу? Хи-хи! Или к тем, которые баранина? М-да, Соня барана любит. Как сосёт под ложечкой! «Люблю человека!» – воскликнул людоед...

Чем Бог отличается от Сони, которая сама не убивает животных, но попустительствует своим аппетитом убийцам, и от них же отворачивается брезгливо, будто не при чём?! Каков Творец, таково и творение – «по образу и подобию»...

Эй, Ангел Маня, что скажешь на это? Молчит. Ну и хорошо, что он не всегда в курсе её мыслей. Или не желает вмешиваться?

И ладно. Можно самостоятельно додумать. Но поскольку Бог – материя не слишком понятная, то Соня стала опять размышлять о себе.

Когда пишет стихотворение или статью, и она – творец. Вроде Бога, только в меньшем масштабе. Однако тоже Автор. И может сотворить всё, что хочет. Но уже изначально *зависит от замысла* – ведь он строится по определённой *логике*. Мысль всегда системна. Потому сразу рождает ограничения! Шагнуть за них не вправе даже гений, если он не шизофреник и желает создать нечто жизнеспособное.

Похоже, и Бог (Мыслящая Материя, Разумный Космос, Вселенский Разум, Абсолют, Универсум) попал в плен личного Проекта. Не случайно сказано: вначале было Слово – Логос. «Логос» (смысл) – основа слова «логика». В первом же Слове – завязь дальнейшей логики развития. А логика, как бы многосложна и ветвиста ни была, – всегда жёсткая последовательность! Структура.

Ещё на стадии замысла автор устанавливает законы, ставит рамки – без них не воплотить замысленное. Ведь имеешь дело с безграничным *хаосом возможностей*, которые хочешь определённым образом упорядочить.

Любое созидание – *структурирование Хаоса*. А вот разрушение может происходить бессистемно. Разрушение и есть рассыпание системы. Хаос.

Да, да! Выходит: любой творец, будь то Бог (Мыслящая Природа, Универсум) или маленький бог в лице художника *зависит от законов, которые сам же и создаёт!* Даже если они жмут! Даже если развеивают иллюзию всеисильности!

Как только творец капризно решит, что всеисилён и вправе отменить свой закон, когда левая нога того захочет, – он тут же превратится из Бога-систематизатора-Хаоса в Дьявола-создателя-Хаоса.

Значит, всеисилие не в том, чтобы делать то, чего левая нога хочет. *Всеисилие – в самоограничении!* Даже в самоограничении собственных милосердных порывов. Даже если всё внутри вопиет от жалости, когда приходится жертвовать многим и многими, как, например, младенцами Вифлеема.

Боже мой, и тут «цель оправдывает средства»?! И дело лишь в том, насколько велика цель?! Твоя велика – и Тебе можно насыпать потоп, уничтожить Содом с Гоморрой, науськивать друг на друга народы, истребляя невинных малышей вместе с погрязшими в грехах родителями? Только любимчикам вроде Ноя с сыновьями или Лота ты помогал спасти не только душу, но и тело. Ты берёг их тела как ковчег для *правильной души*? Но ведь крохотным младенцам, унесённым потоком, и малолетним жителям Содома с Гоморрой ты не дал даже шанса! Может, кто-то из них тоже мог бы стать праведником?!

*Как же всё-таки со слезой ребёнка, Господи?!*

Господи, я всё про Тебя поняла! Ведь именно для того, чтобы остаться в рамках своих же Законов, не впасть в противоречие между всеисилием и милосердием, Ты и дал свободу выбора человеку! Ты *переложил на него ответственность!* Сделал человека стрелочником,

который – случись что! – всегда виноват сам. Человек нужен Тебе для того, чтобы Ты сохранял целостность.

Бедный человек! Впрочем, почему же? Ведь получается: человек свободней Бога! Он вправе не думать о великих проектах – и может отдаваться порывам. Дети всегда свободнее родителей. А мышь ещё свободнее.

Чем больше разума – тем меньше свободы? *Чем больше ответственности за других, чьи интересы часто не совпадают, – тем меньше свободы у организатора?!*

Бедный Бог! Как же Тебе печально, наверное, когда при создании Книги Бытия приходится «кидать в мусорную корзину» отдельных людей, города и народы, которые не вписались в замысел! Соня знает, как трудно смирять сердце, вычёркивая абзацы, а то и выбрасывая целые листы с неудачным текстом.

Лишние слова. Лишние люди. Образ лишнего человека обречённо проходит не только по земной, но и по «небесной литературе». Тоже зеркало.

А что делать? Нельзя не выбрасывать лишнее – иначе текст рассыпется. Таковы основополагающие Принципы Творения, касаются ли они создания великой Книги Бытия, скромной статьи или устройства государства. Как киты и слоны, на которых держится *Вселенский Порядок*. Как три закона Ньютона. Против них – никак, как бы ни хотелось!

Значит, путь один: *добровольно – свободно! – уменьшать степени собственной свободы?*

Есть ли выход из этой фатальности? Он то мелькнёт, то снова исчезнет, будто пригрезился. И она всё кружит по лабиринтам, рискуя быть съеденной Минотавром.

Не те же ли чувства и мысли тревожили древних греков, когда они сочиняли притчу про смельчаков, заплутавших в лабиринте и погибших в пасти чудовища? Не символ ли жизни лабиринт? Не символ ли Хаоса жрущий героев Минотавр? Существо, лишённое *единства*: тело человека, голова быка.

Только Тезей смог пробраться по запутанным ходам и сбить чудовище. Потому что девушка Ариадна дала ему чудесную Нить. Потому что Любовь вела Тезея.

Не про то ли это, про что Соня уже думала: *только Сила, соединённая с Любовью, побеждает Хаос?!*

Даже подчас без борьбы побеждает, *преобразовывая* его в некий Порядок!

Для начала, конечно, Хаоса просто *не надо бояться*. В этом сила – в отсутствии страха, в готовности пройти по лабиринту. Понимая при этом, что не пройдёшь, если не разгадаешь его загадки. Сила – и *в уме при разгадывании* загадок. И *в мудрости принятия отгадок, даже если они не нравятся*. И в последовательном *подстраивании своих шагов под отгадки*... Наверное, погибшие в лабиринте герои слишком надеялись лишь на физическую мощь, наивно полагая: сила есть, ума не надо.

Но если даже невозможно до конца понять устройство лабиринта, разобраться в *системе* его ходов, тогда надо сделать *системным продвижение* по ним. Как сделал Тезей с помощью Нити Ариадны. *Не ненависть к Минотавру должна вести, а любовь к Ариадне и всему хорошему!*

Герои гибли, потому что делали неверные шаги – ненависть туманит разум! – и *сами* превращали лабиринт в хаотичный набор тупиков.

Может быть, даже *сами* создавали Минотавра?! Или того хуже – становились им? С ужасом узнавая в собственных следах его отпечатки...

Только Любовь связывает всё спасительной нитью смысла, обращая Хаос в Единство. И тем усмиряя его. Не борьбой... Вот отгадка!

И может быть, может быть, разрываемый противоречием между телом человека и головой быка Минотавр *сам* жаждал гармонии и надеялся на спасение?!

Или это уже её домыслы?

Что касается устройства лабиринта (мира), то вероятно: этого и в самом деле никогда не понять до конца. Можно понять лишь общие принципы его существования. Мир не обязан быть удобным для человека – это человек обязан быть удобным для мира. Человеку с его антропоцентрическим мышлением хочется быть пупом Вселенной. Каким-то седьмым чувством он ощущает: она замечает его, «ведёт», зачем-то ищет контакта. Но Вселенная живёт не простой логикой, доступной человеку, который в силу ограниченности не учитывает многих параметров. Она живёт по своей логике – более сложной и грозной, чем хочется людям. Эта величественная логика не лишена смысла и любви, хотя подчас кажется жестокой...

Маленький человек в русской и советской литературе? Нет, маленький человек в огромной и не слишком ласковой Вселенной!

И не справиться со страхом, с чувством отверженности, пока не рискнёшь полюбить её. *Принять как есть.* Сказать себе: «Это мой дом, я живу в нём, он прекрасен, хоть временами суров. Он даёт мне больше, чем я в силах ему дать. Даже когда что-то отнимает, всё равно оставляет очень много! И я счастлива, что зачем-то нужна ему, как и он – мне. Но не я в нём хозяйка, а в чужой монастырь со своим уставом не лезут.

*Я должна понять, в каком качестве этот дом хочет меня видеть, и согласиться с его правилами».*

Вот индусы спокойно принимают многозначность мира и, не мудрствуя, мудро живут в нём. Сиянье лика их бога Кришны ярче солнца. Кто увидел Кришну хоть раз, уже не может жить без него и тянется к его свету. Но однажды Кришна явил принцу Арджуну свой космический облик. И увидел Арджуну миллионы пламенеющих глаз – они то сжигали, то оживляли, то снова испепеляли... бесчисленные чрева вбирали в себя миры... пылающие рты с ужасными зубами поглощали всё вокруг и выплёвывали новые формы... и люди устремлялись в зевы, похожие на огонь... И это же время перед Арджунуной стоял тот же самый Кришна в образе прекрасного юноши со светозарным любящим взглядом!

И опять древние греки вспомнились: из побеждённой мерзкой Медузы Горгоны вылетел Пегас...

Он летал по комнате, создавал крыльями сквозняк над сониной головой и шептал голосом Ангела Мани, что Медуза Горгона не до конца была испорчена, потому что вот ведь он, Пегас, в ней сидел... *«Не давай бесповоротных оценок»...*

Или это дует из щелей? И ветки за окном шуршат... Кажется, она уже засыпает.

Светало, когда Соня проснулась от того, что кто-то скрёбся в дверь, а потом тихо постучал.

– Соня! – раздался громкий шёпот Тютёва.

Соня чертыхнулась, закуталась в простыню и вышла в коридор:

– Что тебе? Не наобщался?

– Соня, извини, это очень важно. Надо поговорить.

– Эгоист ты! Не мог утра дожждаться?

– Так уже утро. Я ждал. Скоро всё равно на лекции ехать. Ты в этой простыне, как гречанка в тунике! Такая красивая!

Похоже, он даже не ложился.

– Ты меня разбудил, чтоб комплименты делать?

– Нет...

– Жаль! Я бы тогда тебя простила.

– А ты и прости меня! Ты в самом деле красивая. Но я про другое... Мне очень надо... Я только тебе могу... Я кофе сварил...

– Ну пошли в холл.

Запах кофе, а особенно слова про её достоинства окончательно примирили Соню с Тютьевым. Уютно свернулась в углу дивана. Скосила глаз: красиво ли облегла тело «туника»? Коридоры были безмолвны.

Тусклый рассвет висел за окном.

– Ты что-нибудь слышала про расстрел рабочих в Новочеркасске четыре года назад – в шестьдесят втором?

– Н-нет...

Что за день такой? То тётя Хеля про расстрел, теперь Кеша. Что за расстрел? В советское время?! При Хрущёве, который освободил её отца и тысячи других политэзков?

– Я должен тебе рассказать. Меня это мучает. Ты во многом была права сегодня. Но ты не всё знаешь. Говоришь: «Живи просто». А я не могу. Я был *там*. Понимаешь? «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Если бы при поступлении в Университет узнали, что я жил тогда в Новочеркасске, меня бы, наверное, не приняли. Чтоб не рассказывал. Но в документах нет про это: родом я из Ростова, паспорт и прописка ростовские... В тот год мама болела, меня с братом забрала к себе наша новочеркасская тётка. Мне было пятнадцать, брату – десять. Он с тех пор инвалидом остался – в него тоже стреляли...

– Такого не может быть! – печеньё застряло у Сони в горле. Нормален ли Кеша?

– Может, Соня. Те, в кого стреляли, тоже думали, что такого не может быть. Детские панамки в лужах крови... потерянные сандалики... брошенные флажки... Это была мирная демонстрация, понимаешь? Семьями шли. Поговорить с властями. Припекло! Хотели, чтоб их выслушали! А в них стреляли. И в женщин. И в детей.

Господи, опять про расстрел... и про детей! Что за день сегодня?! Ну точно *неслучайные случаи*! К чему бы? Прямо как в кино всё скомпоновано. Что ей *кто-то* хочет этим сказать?

– Послушай. Я по порядку. Муж тётки на электровозостроительном заводе работал. С января шестьдесят второго там снизили расценки оплаты труда. Как, впрочем, по всей стране. Но и другое вызывало ропот. На заводе не было душевых. Не решались квартирные проблемы. Люди жили в холодных временках, бараках без газа. Многим приходилось снимать жильё. А плата за него – треть заработка. Ещё и корм исчез. В магазинах – только крупы, горох и макароны. В Новочеркасске был мясокомбинат, но его продукцию увозили в Москву. Месяцами люди не видели мяса, колбасы. Даже элементарного молока и масла! Даже хлеба... то совсем нет, то такой, что животом маялись...

– В Баку было так же. С ночи занимали в булочную очередь – на квартал растягивалась! В семьях дежурства устанавливали: кто кого через сколько часов сменит – сутками ждали, когда хлеб подвезут. Иногда не подвозили. Мяса и колбас тоже не было. И с маслом-молоком перебои.

– А тут – не перебои. Совсем – понимаешь, совсем! – не стало. За продуктами ездили по выходным в Ростов. Но и там не всё можно было купить. Уставали. Да и лишние траты на дорогу. А первого июня утром по радио объявили о резком повышении – на тридцать процентов! – цен на мясопродукты, молоко, творог, яйца. Это был удар...

– Помню. В газетах писали: «Цены повышены в интересах трудящихся»... У нас во дворе тоже не понимали, в чём тут «интерес трудящихся»...

– Вот-вот! Рабочих собрали в обеденный перерыв в актовом зале – сообщить о такой циничной «заботе». Люди стали кричать: мол, и раньше жрать не густо было, а теперь вовсе с голоду помрём! Возмутились: почему запретили иметь в пригородах личный скот? Откуда взяться мясу-молоку? Ведь колхозы-совхозы всех обеспечить не могут!

– Нас в Баку браконьеры выручали – носили по дворам осетрину с севрюгой, чёрную икру. Это было дешевле мяса! Прямо как в том историческом анекдоте: «Нет хлеба – ешьте пирожные»... Шашлыки из осетрины делали. Пироги с вязигой – это хрящи такие мягкие...

– Вам легче было. А здесь тоже свой исторический анекдот получился. У кого-то в руках директор завода Курочкин увидел пирожок. По-барски бросил: «Хотите есть – пусть жёны пирожки готовят». «Для пирожков тоже яйца с маслом требуются!» – зашумели рабочие. И пошли по цехам собирать народ на забастовку. Всё вышло стихийно. Включили заводской гудок. Люди с посёлков и из города стали стекаться к заводу. Сделали плакаты: «Дайте мясо, масло!», «Повысили цены на еду – повысьте расценки на труд!», «Нам нужны квартиры». Вышли с плакатами к железной дороге – через проезжающие поезда сообщить стране о протесте. Кто-то написал мелом на одиноко стоящем тепловозе, чтоб видно было с проходящих поездов: «Хрущёва на мясо!» – но вскоре сами демонстранты надпись стёрли. Как провокационную. Не хотели подставляться – хотели серьёзного разговора с властями! Народ прибывал...

– У нас в очередях тоже шептались: мол, газеты и радио твердят, как успешно СССР догоняет Америку по производству мяса-молока, а продуктов в магазинах – всё меньше. Но чтобы забастовка?! Да такая массовая... Не верится. По-моему, за пятьдесят лет в нашей стране ни одной забастовки не было.

– Может, ты о них просто не слышала? Не слышала же ты о Новочеркаске! Ну так слушай. Весь день город шумел. Власть отмалчивалась. Милиция разгоняла демонстрантов – те снова стекались к заводууправлению. Лето стояло жаркое, сухое. Было душно. Хотелось пить. Но никто не расходился. На площадь с толпой въехал открытый грузовик, доверху гружённый ящиками с ситро.

– Решили спровоцировать возбуждённых людей на противоправные действия?

– Да. Соблазн разобрать бутылки был огромен. Но возобладал здравый смысл... К вечеру на площадь пригнали солдат из Новочеркасского гарнизона. А те стали брататься с рабочими... Забастовка охватила другие предприятия. Решили завтра идти организованной демонстрацией к горкому. Вечером в город стянули войска, танки. Прибыли из Москвы члены ЦК КПСС. Ночью арестовали главных «бузотёров». Однако многотысячная демонстрация состоялась. Люди шли поговорить со своей народной властью и «авангардом» – Коммунистической партией. Шли колоннами, нарядные, с детьми в белых рубашечках и пионерских галстуках. Несли красные флаги, плакаты с требованиями, портреты Ленина. Пели «Интернационал». Это совсем не походило на «группу хулиганствующих элементов», как потом было представлено. Да и хороша группа – полгорода! Мы с братом тоже там были. И ребята с нашего двора. Когда подходили к горкому, на подступах к которому стояли войска и танки, раздались автоматные очереди...

Кеша говорил спокойно, даже размеренно, почти бесцветным голосом:

– Люди закричали, рассыпались. Обезумевшие женщины хватили на руки детей, на белых рубашечках многих краснели пятна – и это были не пионерские галстуки... В лужах крови лежали убитые и раненые. Мы с братом побежали. Но проспект, ведущий к горкому, был запружен народом. Танк развернул пушку, выравнивая ствол вдоль проспекта, – толпу прорезал выстрел. Кровь заполнила выемки в асфальте, валялись куски мяса. Какой-то инвалид собирал их в ведро и выплёскивал на танки, пока его не подстрелили...

– А твой брат?

– Когда пошла стрельба, рабочие встали цепью, оттесняя назад детей и женщин, закрывая их собою. Так погиб муж моей тётки. А когда мы бежали, в брата попала пуля. Разрывная – нам врач по секрету сказал. Брату ампутировали ногу.

– Но разрывные пули запрещены международным правом! Советский Союз заявлял: таких пуль на вооружении армии нет.

– Мало ли о чём ты читала, Соня?! Газеты не пишут правды!

– Тогда зачем ты на журфак пошёл?

– Чтобы когда-нибудь её сказать... В ночь после расстрела по домам ходили и, пугая карами, велели «не болтать». Тела погибших не выдали родным. Потом просочились слухи: трупы тайно вывезли за город и сбросили в общую яму без опознавательных знаков. Тем, кто оказался с увечьями в больнице, поставили диагноз: «бытовая травма». Пострадавших заставили писать объяснительные, где и как получены эти «бытовые травмы»: типа «шёл с работы, выпили с друзьями, подрались»... Чтобы не претендовали на социальные выплаты. А если где что сболтнут, то чтобы можно было назвать это «гнусными инсинуациями, клеветой» и предъявить объяснительные с их же «признаниями». Многих прямо в больницах после оказания помощи арестовали – кого расстреляли, кого посадили на десять– пятнадцать лет...

Соня молчала, ошеломлённая. Зачем, зачем Кеша рассказал это?

Страх заполнил Соню – теперь и она знает то, что знать нельзя. Боже мой, она ещё учила Кешу жить! Самонадеянная высокопарная идиотка! Теперь не выйдет жить, как раньше. А она хочет, как раньше. Не хочет знать *такого!*

– Вскоре в городе появились продукты, – продолжил после долгого молчания Тютьев. – И мясо с колбасой, и молоко-масло. За год построили для рабочих благоустроенные пятиэтажки. Значит, не зря люди собой пожертвовали... А я всё думаю: как жить теперь? Что делать? Что делать мне, Соня?!

– Я не знаю, Кеша. Не знаю. Ты прости меня за глупости, что накануне болтала. Но может быть, не всё – глупости? Помнишь, я сказала тебе про комарика, которого запросто прихлопнут, если будет жужжать про права комаров? Может, надо *увеличивать свой размер и наращивать силу?* Чтоб не прихлопнули так просто.

– Как?

– Сама пока не знаю. Но вижу только такой путь. И при этом всё равно *просто жить* – любить, дурачиться, танцевать, наслаждаться музыкой, бродить по городу, петь песни под гитару, радоваться вкусной еде, вину, дружеской беседе. Если этого не делать – получится: сам себя в тюрьму посадил. Заранее. За *них* работу сделал... И – не поддаваться ненависти, как бы сильно и сколь многое ты бы ни ненавидел. А то сожрёт изнутри... Да. Наверное, только так: *увеличивать свой размер, наращивать силу и не поддаваться ненависти.*

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

**Летели спрессованные событиями дни.**

**Нарастало любопытство, как при чтении захватывающего детектива или фантастического романа с лихо закрученным сюжетом: что дальше? на следующей странице?**

**Однако следующая страница запутывала ещё больше, добавляя какие-то незначущие детали, которые – ясное дело! – тоже сыграют свою роль, но где и когда – не вычислялось. Оставалось отдаться потоку «авторских фантазий» – куда-нибудь да вынесет.**

**Часто выносило на пустые листы. В них можно было вписывать что-то своё.**

**Дальнейший сюжет как-то учитывал «читательские вставки».**

**Будто текст последующих страниц загадочным образом сам видоизменялся в соответствии с «дописанным».**

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Студгородок, расположенный на Ломоносовском проспекте в нескольких остановках от высотного здания МГУ, был как бы площадкой для выгула щенков – здесь на огромной территории с малоэтажными общежитийскими корпусами, хаотично разбросанными между мини-стадионами, жили в весёлой суете младшекурсники, играя в беспечные щенячьи игры, «приносиваясь» друг к другу, к среде обитания и совершая всё более дальние вылазки за её границы в поисках новых друзей и разнообразной пищи для живота и духа. Особи постарше и посерьёзней жили в знаменитой университетской высотке.

Люди со стороны и приезжие думали, что высотка МГУ – это учебные аудитории, лаборатории, кафедры с седовласыми профессорами. Там в самом деле располагалось несколько факультетов. Но в основном это было огромное общежитие, вокруг многочисленных комнат которого сгруппировалось всё, что обслуживало жизнь десятка тысяч студентов, стажёров, аспирантов и преподавателей: столовые, парикмахерские, прачечные, поликлиника с лазаретом, скоростные лифты, продуктовые и книжные магазины, кинотеатр, концертный зал, почта, междугородный телефонный пункт, издательство с типографией, где выпускали университетскую газету и учёные брошюры.

В чреве высотки, взмывающей шпилем в небо, скрывался целый город, уходящий несколькими этажами под землю, разветвляясь там гулками сумеречными коридорами. Коридоры выныривали к ярким лоткам с пёстрой бытовой ерундой, к празднично освещённым нишам магазинчиков и кафешек или к загадочным лестницам – те вели вверх и тут же снова вниз, вбок к таинственным переходам и опять вверх, создавая впечатление чего-то фантастического. Тут и там стояли похожие на роботов красные автоматы с газировкой.

Соня мечтала о времени, когда их переведут жить сюда – и она станет полноправной гражданкой этого особенного государства.

Она часто навевалась в эту метрополию в поисках какой-нибудь умной книжки или пообедать «как человек», когда надоедала унылая пластмасса шаткой мебели в столовых студгородка, гнутые алюминиевые вилки, треснутые гранёные стаканы и вечное отсутствие ножей.

В профессорской столовой высотки белеют накрахмаленные скатерти. На них торжественно мерцают тяжёлые приборы из нержавеющей стали – с перцем, солью и горчицей, хрустальные колечки с кокетливо свёрнутыми салфетками. Ситро и пиво подают в высоких бокалах с золотым ободком, кофе – в белых фарфоровых чашечках с виньеткой, внутри которой сплетены вензелем три заветные буквы «МГУ», напоминая очертаниями университетскую высотку. Витают аппетитные ароматы. Всё вкусно. При этом – дёшево. И полная демократия: швейцар пропускает не только преподавателей, но и студентов.

...От столов доносятся обрывки разговоров – то значительных, то забавных, а то и рискованных:

*– На границе сферы Шварцильда пространство и время меняются местами...*

*– Знаете способ охоты на льва методом инверсии? Помещаем в заданную точку пустыни клетку, входим в неё, запираем изнутри, производим инверсию пространства по отношению к клетке – теперь лев внутри клетки, а мы снаружи.*

*– Проще ловить льва по Шрёдингеру! В любом случае существует положительная, отличная от нуля вероятность, что лев сам окажется в клетке. Сидите и ждите...*

*– А что будет, если в Сахаре построить коммунизм?*

*– Начнутся перебои с песком!*

*– Надо же, какой догадливый!*

*– Нет, просто опытный...*

*– Соловьёв видит суть зла в том, что безусловное общее подменяют ограниченным. То есть утверждают самость – и отпадают от Всеединства.*

*– Вырываешь из контекста! Контекст – шире. И оптимистичней. Там о закономерностях исторического процесса – процесса развития и личности, и всего человечества. Сперва – распадение целого, дробление, которое нарастает, грозя полным хаосом. Потом – вторичное объединение. В конце – то же, что и в начале: единство. Но в начале – единство одинакового, в конце – единство множественного.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.